



НОВАЯ ПОЛЬША 9/2011

Содержание

1. ЕЖИ ГЕДРОЙЦ, ХРАНИТЕЛЬ ПАМЯТИ
2. СДЕЛАЙТЕ ВСЁ, ЧТО В ВАШИХ СИЛАХ, ЧТОБЫ ИЗДАТЬ ПАСТЕРНАКА
3. ПОЛЬСКОЕ ВЫСОКОМЕРИЕ И ЛИТОВСКИЕ ФОБИИ
4. ДОЛИНА ИССЫ
5. ХРОНИКА (НЕКОТОРЫХ) ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ
6. КУЛЬТУРНАЯ ХРОНИКА
7. МАНДЕЛЬШТАМ В ПОЛЬШЕ
8. МАНДЕЛЬШТАМ ПОМОРСКОГО
9. МЫ ЛЮТО ЗАВИДОВАЛИ ИМ
10. СТИХОТВОРЕНИЯ
11. МИР ЗА МИРОМ
12. ВЫПИСКИ ИЗ КУЛЬТУРНОЙ ПЕРИОДИКИ
13. РУССКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ В ПОЛЬШЕ

ЕЖИ ГЕДРОЙЦ, ХРАНИТЕЛЬ ПАМЯТИ

С давних пор мне кажется, что вопрос «как Ежи Гедройц видел историю» дает принципиальную точку зрения, позволяющую понять то необычайное явление, каким был создатель «Института литерацкого». Я хотел бы представить здесь некоторые соображения, связанные с этой темой, и зафиксировать несколько запомнившихся мне эпизодов.

Ибо я считаю, что в случае Ежи Гедройца мы имеем дело с плодотворным сплетением четырех элементов: он был редактором политики (суфлером идей, критиком начинаний разных статистов и группировок); был редактором польской культуры (прежде всего литературы); был издателем (организовал административное управление журналами, обеспечивал их финансирование); был, наконец, архивистом (создал базу документов для своей деятельности, заботился о сохранении записей прошлого). Гедройц проявил необычайный организационный талант в четырех областях: в политике, культуре, финансах, сборе документов. Талант в каждой из этих областей редок, а сочетание этих талантов в одном лице было явлением уникальным. Это сочетание лежит в основе глубины и прочности воздействия Ежи Гедройца.

Двигаясь дальше по этому следу, я хотел бы рискнуть следующим обобщением: до войны, в его бытность редактором «Политики», зазвучали, хотя еще не в полной форме, два из этих талантов — к политике и к организации финансовой базы. Только у редактора «Культуры» проявилось полное сплетение всех четырех упомянутых элементов: Гедройц создал «Институт литерацкий» — издательство, которое постоянно воздействовало на политику и культуру нашей эпохи, и не только в Польше; создал его финансовые и организационные основы и обеспечил ему устойчивость, поразительную не только для эмигрантских условий и обстоятельств; создал, наконец, дом «Культуры», его библиотеку, архивы, собрания произведений искусства и документов. Тут лежит объяснение того качественного скачка между редактором «Политики» и редактором «Культуры».

Ежи Гедройц сознавал, что журналы и издательство, которые он построил, не смогут продолжаться без него. И стремился к

тому, чтобы в организационном (финансовом) смысле обеспечить выживание хотя бы дома «Культуры», библиотеки, архива. Еще при жизни он принял решение о публикации своей переписки в серии «Архив “Культуры”» и распорядился, что это издание должно быть продолжено.

Эти решения вытекали из его отношения к истории, к записям прошлого. Гедройц понимал их значение. Так было с давних лет. Он живо интересовался историей уже во время обучения в университете. Перед лицом национальной катастрофы, свидетелем которой он был (ликвидация целых общественных слоев; утрата памятников материальной и духовной культуры; вышвыривание миллионов людей на чуждые им территории; города, обращенные в развалины), эта его обостренная чувствительность к исторической материи еще больше усилилась.

Несколько эпизодов. Мне рассказывал Юзеф Чапский, что, когда Ежи Гедройца назначили на скромную должность в подчинявшемся Чапскому отделу прессы Польской армии на Востоке, он сразу же принялся рассылать письма по всему миру. Он выстукивал их двумя пальцами на машинке, где-то в бараке посреди пустыни. Устанавливал контакты, отыскивал сотрудников, которым поручал разные задания, собирал свидетельства. И всегда печатал под копирку (иногда плохо заложенную) — хотел сохранить копии этой переписки. Зофья Герц говорила мне, что уже тогда, в полевых условиях, первым принципом, который навязал ей Ежи Гедройц, был запрет выбрасывать какие бы то ни было документы. Уже в ту пору он понимал важность фиксирования редакционной деятельности и делал это с внушительным размахом. Другая история из тех лет, рассказанная мне Чапским. Они ехали на армейском автомобиле из Италии во Францию, году, кажется, в 45 м, и проезжали в северной Италии мимо какого-то огромного здания — дворца или замка, стоявшего посреди пустоши. Чапский сказал — просто так, мимоходом: «Не понимаю, зачем люди строили такие громадины. На что это может кому-то пригодиться в нынешние времена?» В ответ на эти слова Гедройц, чуть-чуть подумав, с полной серьезностью ответил: «Совершенно с тобой не согласен, это был бы отличный дом для работы».

Такая дальновидность, широта планов и умение их практически осуществлять поражала в здании «Института литературного» с самого начала. Вацлав Збышевский, автор, несомненно, самого меткого — и самого красочного — портрета того созвездия, что собралось вокруг Ежи Гедройца,

вспоминал, что во время первых визитов в «Культуру» в Мезон-Лаффите, еще [в ее первом помещении] на авеню Корнеля, его больше всего удивил вид библиотеки — аккуратно собранных, пронумерованных, каталогизированных томов. Когда в 1954 г. «Культура» была вынуждена переселиться и Гедройц искал новое помещение, он жаловался: «До чего же страшные люди эти минималисты», — когда его сотрудники (Зыгмунт Герц) считали, что, покупая столь обширное помещение, он метит слишком высоко. А Гедройц уже видел архив и библиотеку, касающиеся не только польских дел, но и всей Центральной и Восточной Европы. Покупка этого дома оказалась одним из самых важных капиталовложений в польскую культуру. Таким способом Гедройц создавал совершившиеся факты (а совершались они благодаря сочетанию многолетнего и упорного ежедневного труда с дальновидными проектами) в сфере политики, и не только польской.

В сентябре 1967 г. мне было дано уже не только посетить дом «Культуры», но и поселиться в нем и некоторое время разделять жизнь редакции. У меня в памяти и воображении прочно запечатлелись увиденные там собрания: переплетенные в темно-зеленое полотно тома вырезок, относящихся к «Культуре», комплекты всевозможных журналов, временами чисто специальных и, казалось бы, совсем далеких от интересов редакции «Культуры», но касающихся польских дел, польской культуры либо иностранных культур, увиденных поляками или же имеющих отношение к странам нашего региона, причем на многих языках, а также разные энциклопедии и компендиумы, — так, словно бы я осматривал подручную библиотеку нескольких научно-исследовательских институтов, нескольких музеев... Меня поразила практичность в сочетании с широтой и смелостью картины. Помню, с каким восхищением показывал мне Гедройц многотомные энциклопедические издания, выпускавшиеся литовскими и украинскими эмигрантами, и его упреки, что польская эмиграция не сумела предпринять аналогичные усилия.

В комнате направо от входа, прямо на полу, я почти всегда видел груды посылок с книгами. Они были адресованы проф. д-ру Тадеушу Мантейфелю, в Институт истории Польской Академии наук, Варшава. Несколько раз я помогал Зыгмунту Герцу отвозить на почту эти посылки с изданиями, отобранными Гедройцем. Он опекал многие библиотеки, и не только в Польше, но особенно близки были ему, пожалуй, наша Национальная библиотека и библиотека Института истории.

Он обладал очень сильно развитым чувством ответственности за польские архивы. Интересовался и теми, что на родине, и другими, разбросанными по всему свету. Честолюбие Гедройца состояло в том, чтобы дом «Культуры» стал Домом польской памяти. И он с удовлетворением рассказывал, что у него разместил свой архив профессор Адам Кшижановский. А также заботился о тяжело больном в то время профессоре Станиславе Коте, который когда-то принадлежал к числу его политических противников. Однако, когда речь шла о сохранении документации прошлых лет, Гедройц действительно становился человеком, стоявшим выше партийных делений; у меня сложилось впечатление, что вопросу о спасении написанного Станиславом Котом он придавал особое значение, как бы желая подчеркнуть, что забота о сохранении национального наследия — дело первостепенной важности. Стефан Киселевский в начале 1970-х рассказал мне по секрету, что ведет дневник и хранит его в двух местах, одно из которых находилось «у князя». О том, что дневник ведет Зыгмунт Мыцельский, я знал от Генрика Кшечковского, который эти его заметки читал и был под их впечатлением; он не предполагал, что дневник окажется таким откровенным и важным свидетельством о Польше — и Европе — XX века. Мыцельский оставил его на хранение у Гедройца, посчитав, что там — самое надежное место. Стало быть, и в его глазах дом «Культуры» представлял собой суверенное княжество в Мезон-Лаффите, островок свободной Польши, где можно сохранить неизолганную память и свободную мысль. Это очень серьезные вопросы, их надлежит прочно закрепить в нашем сознании.

В 1972 г. после нескольких повторных отказов я получил заграничный паспорт. И снова поселился на какое-то время в доме «Культуры» — впервые после «процесса альпинистов», в котором моего брата Якуба осудили за контакты с Гедройцем, а в качестве основных материалов обвинения на судебном столе лежали книги и журналы, издаваемые «Институтом литерацким», и впервые с 1969 г., того «черного года», когда умерли многие из сотрудников «Культуры»: Казимеж Вежинский, Марек Хласко, Витольд Гомбрович, Ежи Стемповский («надеюсь, смерть наконец-то сломала косу», — написал Гедройц Юзефу Виттлину после очередного траурного известия). Поселился я снова в «конюшенке» при доме «Культуры». Одной из первоочередных тем были тогда формы закрепления памяти об этих писателях. Я упомянул о необходимости собрать переписку Ежи Стемповского и Витольда Гомбровича. Гедройц сразу принес две больших коробки, где уже сложил собранные им документы, связанные с

ними. И вслух размышлял, к кому бы еще следовало обратиться за информацией по этому вопросу.

Он был особенно чувствителен к проблематике сохранения записей прошлого, причем как в тот период, когда «Институт литерацкый» был островом подлинной, не фиктивной польской памяти, так и позднее, после 1989 г., когда вместе с вновь обретенной независимостью цензура в Польше была отменена и появилась возможность писать о минувшем свободно. Гедройц был лишен какого бы то ни было национального фанатизма — классового, расового, религиозного, бытового. Я знал, что эти темы всегда его одушевляют. И хотел бы привести здесь два эпизодических разговора с ним, относящихся ко второй половине 1990-х.

Первый был связан с «Зешитами хисторычными» («Историческими тетрадями»). Я сказал, насколько ценю их, и полушутя добавил, что удостоил их — как одно из трех самых важных польских издательских достижений в области истории — ордена Памяти с золотым султанчиком. Пан Ежи тотчас же включился в игру и спросил, кто же остальные лауреаты. Я назвал «Польский биографический словарь» (ПБС); «само собой разумеется», — сказал Гедройц и только пожаловался на медленность публикации. Но он надеялся, что ее, однако же, ускорят и станут сразу готовить следующее издание, чтобы можно было к нему приступить в первые годы XXI века. Когда мы вели этот разговор, ПБС был на букве «С» (где-то близ ее начала), а когда я спустя добрых полтора десятка лет пишу об этом разговоре, ПБС находится на букве... «С» (приближается к ее концу) — и тут не подходит даже такое определение, как черепаший темп! Не собираюсь, однако, отбирать у словаря тот орден, которым когда-то наградил его; это и на самом деле замечательное издание, но приводимый теперь срок завершения работ — 2030 год — как-то трудно считать приемлемым, и я надеюсь, что хотя бы из уважения к памяти Ежи Гедройца (к способам и темпам его деятельности) он будет сокращен.

Вторым лауреатом своего ордена Памяти (третьим, если считать «Зешиты хисторычне») я указал Романа Афтаназы, автора монументального труда «История имений на бывших окраинах Речи Посполитой». «Я ждал, упомянете ли вы его», — сказал Гедройц, явно воодушевившись. Но каким же образом я мог бы его пропустить: в библиотеке дома «Культуры», на полках в комнате слева от входа, как раз невдалеке от ПБС, я мог видеть одиннадцать оправленных в травянисто-зеленое полотно томов второго полного издания монументального

труда Романа Афтаназы. Его автор спас из потопа память о почти полутора тысячах польских имений на кресах. Он посылал десятки тысяч писем прежним владельцам, их потомкам или людям, которые как-то сталкивались с этими памятниками прошлого. И выполнял всю эту работу в одиночку, на протяжении десятилетий, без какой-либо надежды на публикацию, *contra mundum*, в качестве способа защитить память от губительной, нивелирующей силы идеологии и варварства. У создателя «Истории имений» в его отношении к прошлому было нечто родственное позиции создателя «Зешитов хистрычных». Всякий раз, когда я попадаю на варшавское кладбище «Старые Повонзки», то задерживаюсь у могилы Романа Афтаназы (почти рядом с характерной могилой Кшиштофа Кесьлёвского) и думаю об этих родственных связях — связях по собственному выбору.

Во время разговора об орденах Памяти Ежи Гедройц вспомнил, что добавил бы еще («но чувствую, что вы снова подпрыгнете») исторические издания «Пакса». Предположение, что его мнение вызовет у меня негативную реакцию, было отсылкой к более ранней части нашей беседы, когда Гедройц с одобрением вспоминал деятельность кого-то с не самым славным прошлым, а я отреагировал на это с откровенной неприязнью. Но в данном случае не было опасений, чтобы я отреагировал негативно: я ценил исторические издания «Пакса», хотя и хорошо знал, какими ущемлениями была обложена их относительно большая свобода высказывания. И ничуть не в меньшей степени ценил я другие издательства, занимающиеся — в дарованных властью рамках — сохранением памяти о прошлом. В первую очередь упомянул ПИВ [польский Госиздат] и продолжающуюся много десятилетий деятельность Павла Герца. Я знал, что отношения между Павлом Герцем и Гедройцем были полны нескрываемой язвительности. Они были похожи между собой в том, что высказывали свои суждения (в том числе и друг о друге), не считаясь с политической или светской корректностью. В тот период Гедройц получал — более чем заслуженные — степени доктора наук *honoris causa* почти ото всех польских университетов, словно бы те хотели наверстать прошлые годы. Я напомнил ему, что у Павла Герца, который располагает внушительными знаниями в области польской литературы XIX столетия, а в области польско-русских и польско-немецких культурных связей (тематики, которой в Польше пренебрегают, хотя это буквально вопрос жизни и смерти) его знания несравненны и он достиг большего, чем несколько университетских кафедр, вместе взятых, — так вот, у него не только отсутствует диплом о высшем образовании, но и вообще Герц бросил школу на

довоенном шестом классе, поэтому мне казалось, что присвоение ему почетной докторской степени стало бы надлежащей оценкой его заслуг. Гедройц принял мое высказывание молча, удивился только, что у Павла Герца нет аттестата зрелости. Не прошло и двух дней, как Гедройц позвонил мне по телефону: у него предстоит встреча с кем-то из университета, и он убедительно просит меня быстро подготовить ему записку, касающуюся докторской степени для Павла Герца.

Второй разговор, который внезапно явил мне во всём блеске историческое чутье Ежи Гедройца, состоялся у нас тоже в конце 1990-х. Я вернулся из Лондона и был в очередной раз под впечатлением Национальной портретной галереи. А также еще раз уяснил для себя, что подобный музей обязательно должен возникнуть в Польше. Когда я осматривал это собрание впервые, такой возможности не было. В то время вся общественная жизнь находилась под официальным контролем. Группы, которые создавали нашу культуру и цивилизацию: аристократия, помещики, промышленники, купцы, — были окружены официальным (а часто и неофициальным) презрением. Их пытались вычеркнуть из общественной памяти. Создание такого Музея польской памяти (какое бы официальное название он ни стал носить) явилось бы важным шагом по пути повторного обретения и укрепления свободной памяти, не подверженной идеологическим манипуляциям. Лишь в последние несколько лет появилась возможность начать работу над таким музеем. И необходимо спешить с закреплением следов (великолепный труд Романа Афтанази должен служить и примером, и предостережением: сегодня уже слишком поздно спасти некоторые реликвии культуры, через десяток-другой лет это станет еще труднее). Такой музей показывал бы широко понимаемую польскую культуру и ее связи с другими культурами, он должен охватывать как восточные земли, так и западные, а также деятельность польской диаспоры и наличие других национальностей, других культур, других вероисповеданий, других образцов быта и нравов.

Я сказал Ежи Гедройцу, что сейчас государственные деятели Польши ощущают перед ним трепет и готовы ходить по струнке, а значит, теперь он тот человек, который не только сумел бы достичь того, чтобы Музей польской памяти появился на свет, но и гарантировал бы такому учреждению независимость от проявлений идеологического фанатизма и слепоты, будь то справа или слева. Он ответил мне на это единственной фразой, которая меня одновременно и поразила,

и восхитила: «Ну да, это важно, но кто мог бы этим заниматься, ведь нынче уже нет Михала Валицкого». Мы никогда не разговаривали об этом блестящем знатоке голландской живописи XVII века, и Гедройц не мог знать, что эта фамилия многое мне говорит, а я не думал, что для Гедройца фигура Михала Валицкого как знатока польской культуры жива (я туманно помнил, что когда Валицкий в 1949–1953 гг. сидел в коммунистической тюрьме за принадлежность к Армии Крайовой и за деятельность в ее подпольном Бюро информации и пропаганды, то «Культура» пером Чапского напоминала о нем и требовала его освобождения, однако думал, что у Гедройца эта заинтересованность носит политический характер), — между тем оказалось, что он помнил о Валицком и как о выдающемся историке польского искусства, авторе основополагающего труда на эту тему, и как о гуманисте, видящем польскую культуру на фоне других культур и интересующемся — с открытым, незашоренным умом — этими связями. Гедройц умел внезапно, экспромтом, в случайном разговоре выдвинуть самую подходящую личность для осуществления той или иной задачи. В это мгновение до меня со всей ясностью дошло, что мысленно он постоянно играет роль редактора польской культуры, ее прошлого, ее будущих форм, что в любой момент он чувствует себя целиком и полностью ответственным за нее — и умеет творчески вдохновлять ее.

СДЕЛАЙТЕ ВСЁ, ЧТО В ВАШИХ СИЛАХ, ЧТОБЫ ИЗДАТЬ ПАСТЕРНАКА

Переписка Ежи Гедройца с Густавом Герлингом-Грудзинским, до сих пор не публиковавшаяся, свидетельствует об их интенсивном сотрудничестве, продолжавшемся свыше сорока лет. В 1946–1947 гг. Герлинг принадлежал к тем нескольким людям, кто вместе с Гедройцем основал в Риме издательство «Институт лите́рацкий» и журнал «Культура». Потом их пути разошлись. С 1956 г. Герлинг вновь поддерживал с редактором «Культуры», перенесенной [в 1947 г.] в Париж, всё более тесные контакты и был постоянным сотрудником журнала. Несмотря на несходство темпераментов они одинаково смотрели на роль эмиграции, ее служебную миссию по отношению к Польше, равно критически относились к западной интеллектуальной элите, увлеченной коммунизмом, и были убеждены в необходимости выработать как можно лучшие отношения с нашими восточными соседями, особенно диссидентами и эмигрантами. Их объединял постоянный интерес к переменам, которым в будущем предстояло привести к эрозии СССР и всего коммунистического лагеря. Оба увлекались русской литературой и проявлениями духовного сопротивления советских диссидентов и интеллигенции. На страницах «Культуры» и в книгах, изданных «Институтом лите́рацким», можно найти публикации произведений Анны Ахматовой, Осипа Мандельштама, Андрея Синявского, Александра Солженицына, Варлама Шаламова и др., а также статьи об их творчестве.

В нижеследующей подборке писем Гедройца и Герлинга доминирует один сюжет, связанный с перипетиями издания на польском языке романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Книга вышла в 1959 г. в «Институте лите́рацком» в Париже и, по скромным возможностям эмигрантского издательства, стала настоящим бестселлером. (Как известно, в Советском Союзе «Доктор Живаго» вышел только в 1988 году).

Густав Герлинг-Грудзинский, который отнесся к роману с энтузиазмом сразу после чтения его итальянского издания — еще до Нобелевской премии, — написал в статье «Великая книга»:

«Никакие слова не смогут передать восхищения этим писателем, так глубоко верным своим убеждениям и так мужественно, в полной изоляции борющимся за свою правду» (Культура. 1958. №12).

Стоит добавить, что упоминающийся в письмах русист и переводчик Земовит Федецкий, известный своими неожиданными литературными суждениями, оказывал материальную помощь Пастернаку и его семье, когда работал в польском посольстве в Москве.

*

Переписка Ежи Гедройца с Густавом Герлингом-Грудзинским хранится в фонде «Библиотека Бенедетто Кроче» в Неаполе и в «Институте лиерацком» (Мезон-Лафит). В ближайшем будущем она пройдет инвентаризацию в рамках проектов, осуществляемых этими учреждениями совместно с польской Национальной библиотекой и Главной дирекцией государственных архивов. В планах архива Геринга-Грудзинского и «Института лиерацкого» — полное издание этой переписки в краковском «Выдавництве лиерацком». Наша публикация выходит в свет с согласия Марты Герлинг, управляющей архивом ее отца, и благодаря помощи покойного директора «Института лиерацкого» Генрика Гедройца и нынешнего директора Войцеха Сикоры.

Здислав Кудельский

Густав Герлинг-Грудзинский — Ежи Гедройцу

Неаполь, 18.X.1957

(...) В ноябре выходит итальянский перевод огромного (650 страниц) романа Бориса Пастернака, о котором мне еще в 48-м году говорил в Лондоне Котт, что это единственное великое произведение русской литературы, «написанное в ящик». Он должен был выйти в России в прошлом году, и в связи с этим Пастернак прислал экземпляр рукописи итальянскому издателю, но потом внезапно вокруг установилась тишина и Пастернак (вероятно, под нажимом Союза советских писателей) потребовал вернуть рукопись, объясняя, что должен внести в нее некоторые поправки. Итальянский издатель отказался (думаю или, скорее, подозреваю, что каким-то тайным путем сам П. побудил его к этому отказу), и книга увидит свет впервые в итальянском переводе. Если это Вас

интересует, то напишу о ней в «Культуру» обширно (возможно, с переводом наиболее любопытных отрывков).

(...)

Всего наилучшего

Густав Герлинг-Грудзинский

Густав Герлинг-Грудзинский — Ежи Гедройцу

Неаполь, 19, X.1957

(...) В сегодняшней «Коррьере делла сера» напечатана целая статья на тему романа Пастернака. Из нее следует, что после нового обострения хрущевского курса у книги нет никаких шансов выйти в России и что к итальянскому издателю (Фельтринелли) приезжали специальные эмиссары из Москвы, настаивая, чтобы он оставил всё в покое. Фельтринелли не уступил (я почти уверен, что тайно его побуждал Пастернак, так как я знаком с молодым итальянским поклонником и переводчиком его поэзии, который за последнее время несколько раз побывал у него в России), и роман выйдет во второй половине ноября по-итальянски и только через несколько месяцев после этого — по-английски (в Америке) и еще в нескольких переводах на главные европейские языки. Называется он «Доктор Живаго» и представлять собой будет историю аполитичного русского врача с 1905 года до наших дней.

Вывод из этого такой, что прежде чем появятся переводы на другие, более читабельные для поляков языки, итальянский перевод будет единственным источником, из которого мы могли бы напоить читателей в Польше. Конечно, я ни в коем случае не чувствовал бы себя в силах перевести почти 700 страниц (а Вы наверное не чувствовали бы себя в силах их издать), но с этим можно как-то справиться, посвятив, например, половину номера «Культуры» подробному описанию, пересказу и переводу самых ценных фрагментов. Разумеется, я пока что пишу это «вслепую», потому что еще не читал книги и не знаю, не закрепил ли Фельтринелли каким-нибудь крючком своих прав на границу (хотя мне это кажется маловероятным, потому что в отношении России не действует конвенция об охране авторских прав, а перевод номинально выйдет без согласия автора).

Всего наилучшего

Густав Герлинг-Грудзинский

Ежи Гедройц — Густаву Герлингу-Грудзинскому

[Мезон-Лафит], 25.X.[1957]

(...)

Благодарю за письма от 18 и 19 октября. (...)

Если говорить о Пастернаке, то рукопись, по-видимому, этой книги курсирует в Польше — не исключено, что я ее получу. Ее привезли поляки с Фестиваля молодежи. Интересно, что мнения их об этой книге отрицательны: что книга попросту очень слабая и что издание имело бы, собственно, только смысл политической демонстрации. Предполагаю, что в течение ноября буду знать, получу ли текст и на каком языке. Во всяком случае заранее очень прошу Вашего мнения об этой книге, как только она выйдет по-итальянски, и вне зависимости от того, будут ли какие-то возможности напечатать большие фрагменты или даже всю книгу, буду просить Вас написать о ней — это наверняка будет нужно.

Наилучшие пожелания

Ежи Гедройц

(...)

Густав Герлинг-Грудзинский — Ежи Гедройцу

Неаполь, 12.I.[19]57

(...)

Благодарю за письмо от 25 октября.

(...) Мнение Ваших молодых собеседников о романе Пастернака находит подтверждение в том, что неделю назад рассказывал мне в Риме проф. Рипеллино, переводчик поэзии Пастернака, который недавно вернулся из Москвы (где виделся с П.) и на обратном пути остановился в Варшаве, где благодаря любезности владельца вроде бы единственного экземпляра романа в Польше Земовита Федецкого смог его прочитать. Роман действительно слабый, но в нем есть, по мнению моего информатора, несколько отличных и сильных фрагментов, которые делают невозможным его издание как в России, так и в Польше.

На днях я получу из «Темпо презенте»^[1] пробный экземпляр итальянского издания (роман появится в продаже только под конец ноября) и смогу выработать собственное мнение. Во всяком случае прошу уведомить по возможности сразу, не хотите ли Вы большой очерк о Пастернаке, охватывающий как его поэзию (Рипеллино издал здесь два месяца назад огромный том избранных стихотворений в своем переводе вместе с русскими оригиналами^[2]), так и роман — причем, говоря о романе, надо будет наверное как-то ловко в тексте процитировать эти сильные и нецензурные фрагменты (чтобы избежать необходимости обращаться к итальянскому издателю за разрешением, потому что роман всё-таки каким-то чудом «копирайтован»).

Желаю всего наилучшего

Густав Герлинг-Грудзинский

Густав Герлинг-Грудзинский — Ежи Гедройцу

Неаполь, 4.XII.1957

(...)

Как Вы увидите из прилагаемого очерка, сведения моих молодых знакомых из Польши оказались, по крайней мере как я считаю, неточными: «Доктор Живаго» — великая книга. И этот очерк, в большой степени основанный на цитатах, станет, на мой взгляд, в Польше сенсацией. Я писал его несколько последних дней и ночей, чтобы успеть в январский номер (помня, что следующий выйдет только в марте), потому что оттяжка на пару месяцев (заполненная другими иностранными изданиями) почти полностью разрядила бы заложенную в нем бомбу.

(...)

Желаю всего наилучшего

Густав Герлинг-Грудзинский

Густав Герлинг-Грудзинский — Ежи Гедройцу

Неаполь, 2.I.1958

(...)

Я рад, что моя оценка романа Пастернака оказалась верней, чем гримасы Ваших знакомых из Варшавы: в Италии уже почти распродан третий тираж, серьезные критики считают книгу шедевром, и я слышал, что в Париже возникает комитет нобелевских лауреатов (Мориак, Камю и др.), который намерен подсунуть в этом году Шведской Академии кандидатуру Пастернака. Если правда (как говорил мне в Риме Еленский), что Вы можете достать русский оригинал, то его действительно стоит дать на перевод Юзефу Мацкевичу.

(...)

Желаю всего наилучшего

Густав Герлинг-Грудзинский

Ежи Гедройц — Густаву Герлингу-Грудзинскому

4.I. [1958]

(...)

Пастернака мне очень хочется, и несомненно Юзеф Мацкевич был бы идеальным переводчиком (как Милош — стихов), но, не говоря уже об авторских правах, это огромная книга, ну и серьезная цена перевода. Буду, однако, пытаться счастья и искать каких-то экстра-денег.

(...)

С наилучшими пожеланиями

Ежи Гедройц

Густав Герлинг-Грудзинский — Ежи Гедройцу

8.I.[19]58

(...)

Сделайте всё, что в Ваших силах, чтобы издать Пастернака. В Польше это станет сенсацией.

Желаю всего наилучшего

Густав Герлинг-Грудзинский

На днях вышло пятое (!) издание «Доктора Живаго».

Ежи Гедройц — Густаву Герлингу-Грудзинскому

12.I.[1958]

(...)

Что касается Пастернака, то, с одной стороны, жду ответа от итальянского издателя, которому уже писал Еленский, и пытаюсь раскрутить нескольких богатых знакомых, чтоб они поиграли в меценатов. Это огромные затраты, а притом заранее известно, что издание будет убыточным: Польша берет задаром, а эмиграция читает всё меньше.

Ежи Гедройц

Ежи Гедройц — Густаву Герлингу-Грудзинскому

19.II.[1958]

(...)

В последнее время был так замотан, что не хватало сил даже на несколько слов. Так вот, прежде всего я очень рад, что Рипеллино готов нам дать несколько запрещенных стихотворений молодых советских авторов с короткой заметкой о них. Совершенно ужасающе, что, хотя эти материалы есть у ряда людей в Польше, добыть их невозможно. Действует комплекс, что, мол, нельзя, что это подводит людей и т.п. Понимаю необходимость осторожности, и я последний, кто хотел бы кого бы то ни было подводить, но всё больше подозреваю, что этот аргумент — скорее прикрытие оппортунизма.

Что касается Пастернака — Федецкий по-прежнему упорствует, что «Доктор Живаго» — очень слабая книга, и это мнение даже охладило его отношения с Пастернаком, с которым он не только дружил, но даже жил у него. По его мнению, выдающаяся книга — «Глейт» (не уверен в названии, потому что письмо получил с ошибкой, и оно весьма неразборчиво, а книги такой я не знаю). Это не мешает ПИВу [польскому Госиздату] несмотря на отсутствие шансов прилагать старания к выходу романа по-польски. В связи с этим я оставляю свои проекты, и это тем легче, что до сих пор еще не вижу денег на издание такой огромной книги.

Русский номер труднее, чем я думал, но я над ним усиленно сижу. Поэтому продолжаю надеяться и на Вашу помощь, как и

на обещание Рипеллино^[3] выбрать стихи Пастернака — новые. Несомненно, если это стихи не печатавшиеся, их надо дать двуязычным текстом.

Наилучшие пожелания

Ежи Гедройц

Густав Герлинг-Грудзинский — Ежи Гедройцу

Неаполь, 22.II.[19]58

(...)

Сердечно благодарю за письмо. Недели через три поеду в Рим и вытребую от Рипеллино всё, что он обещал. Что касается моего участия в русском номере, то, естественно, обещание открытого письма о лагерях «держится крепко», но хотелось бы знать приблизительно, на когда Вы планируете этот номер.

Что касается Федецкого, то, разумеется, с его мнением о романе П. не справиться, но я не придавал бы этому ни малейшего значения (так же критически относится к «Доктору Живаго» и Рипеллино, оба, хорошо друг с другом знакомые, — поклонники Пастернака только для «посвященных»). Кстати, в Риме мне говорили, что итальянский издатель романа П. (который, хоть и коммунист, один из самых богатых в Италии промышленников) носит с замыслом издать на свой счет русский оригинал «Доктора Живаго». Быть может, если ПИВ раздумает или натолкнется на непреодолимые препятствия, можно будет через итальянских знакомых вытянуть у Фельтринелли пару грошей на издание польского перевода в «Библиотеке “Культуры”». Вайнтрауб мне пишет, что и его гарвардский знакомый, у которого Шведская Академия каждый год запрашивает мнение насчет кандидатов на Нобелевскую премию, назвал в этом году Пастернака. Вопрос о премии пока не ясен: как я слышал от моих знакомых, которые недавно видели Камю, его в Стокгольме просили назвать кандидата и, когда он назвал Пастернака, спросили, а что он думает о Шолохове. Это могло бы свидетельствовать, что русские выдвинули официальную контркандидатуру, а компромиссные и нейтральные шведы боятся их обидеть.

Мой очерк о Пастернаке из «Культуры» вышел по-итальянски в двух номерах «Иль мондо», а теперь его взял немецкий журнал «Меркур» — и, может быть, возьмет аргентинский «Сур». Кстати говоря, здесь выйдет по-итальянски мой небольшой, стостраничный сборник очерков о советской литературе,

напечатанных в итальянских журналах, — «От Горького до Пастернака»^[4]. Разумеется, я Вам пришлю экземпляр.

С наилучшими пожеланиями

Густав Герлинг-Грудзинский

Ежи Гедройц — Густаву Герлингу-Грудзинскому

25.X.[1958]

(...)

С Пастернаком небывалая сенсация. Может, самая большая — само поведение Пастернака. Несколько лет тому назад это было бы непредставимо. Какое отличное поучение польским литераторам. А пронос Пастернака: здесь Федецкий, который кстати на днях собирается в Неаполь. Очень симпатичный и любопытный. С упорством продолжает твердить, что «Доктор Живаго» — это графомания, но подозреваю, что начинает мучиться угрызениями совести за растраченные возможности: у них была рукопись, и в 56-57 м году были шансы напечатать это в Польше. Кто знает, не стоит ли издать это по-польски сейчас. Буду пытаться заинтересовать этим какой-нибудь ам[ериканский] фонд, потому что у них прорусские склонности. Шансов мало, но попробовать стоит. Только кто мог бы это хорошо перевести?

Ежи Гедройц

Густав Герлинг-Грудзинский — Ежи Гедройцу

Неаполь, 25.X.[1958]

(...)

Читаю в сегодняшней «Коррьере делла сера», в корреспонденции из Стокгольма, озаглавленной «“Литературная газета” атакует Пастернака и Шведскую Академию»: «Подчеркнув, что многие западные критики тоже признали «Доктора Живаго» книгой, лишенной всякой художественной ценности, хаотичной по композиции, аффектированной, пропитанной искусственным символизмом, «Литературная газета» дословно приводит отрицательные мнения о романе, высказанные немцем Густавом Герлингом в «Меркуре», голландским критиком в «Хет пароль» и французом Андре Руссо».

Этот немец — разумеется, я (во второй раз русская замена X на Г онемечивает меня — впервые это со мной случилось на следствии, когда офицер НКВД счел меня родственником Геринга), хотя в сноске «Меркура» к моей статье ясно сказано: «*der polnische Schriftsteller*», а эти мои якобы отрицательные мнения о «Докторе Живаго» высказаны в очерке «Победа Бориса Пастернака», который напечатан в «Культуре», а потом по-итальянски в «Иль мондо» и моей книжечке «*Da Gorki a Pasternak*», а также по-немецки в «Меркуре» за май с.г.

Мне хотелось бы на эту наглую чушь — Вы наверное лучше всех знаете, насколько я энтузиаст «Доктора Живаго»! — во всех этих трех журналах ответить. Не сумеете ли Вы достать для меня в Париже этот номер «Литературной газеты» и сразу мне прислать? Я написал бы свой ответ либо в форме письма редактору «Культуры», либо в форме короткой статейки. Не ужасающе ли это, что именно меня используют в Москве для нападок на Пастернака после Нобелевской премии, которую я много месяцев предвидел и которой жаждал так страстно, как будто по меньшей мере сам написал «Доктора Живаго»?

А прогос: не считаете ли Вы, что кому-нибудь в Париже (Чапскому или Милошу) следует написать в декабрьский номер несколько слов об этой премии? Если успею получить «Литературную газету», то эта мелочь могла бы появиться вместе с моей статейкой или письмом как разложенное на два голоса поздравление Пастернаку от «Культуры».

Самые сердечные пожелания

Густав Герлинг-Грудзинский

(...)

Ежи Гедройц — Густаву Герлингу-Грудзинскому

29.X.[1958]

(...)

У меня к Вам огромная и срочная просьба. А именно: не могли бы Вы помочь у итальянского издателя в получении авторских прав на польский перевод «Доктора Живаго»? Разумеется, важно и то, чтобы заплатить за права как можно меньше. Вся идея совершенно безумная, так как я еще не знаю, откуда и как добуду деньги на издание — а тут нужны большие деньги, — но сначала должен иметь гарантированные права. Издание теперь по-польски имело бы большое значение, если говорить о

моральной поддержке польских писателей (в последнее время очень слабнущей) и жесте по отношению к «русским друзьям».

Заранее извиняюсь за хлопоты и остаюсь с наилучшими пожеланиями

Ежи Гедройц

Густав Герлинг-Грудзинский — Ежи Гедройцу

Неаполь, 30.X.[1958]

(...)

Федецкому просто самолюбие не позволяет признаться в ошибке, допущенной в оценке. Такое же явление я наблюдаю и у его друга Рипеллино.

Если Вам удастся раздобыть средства на издание «Доктора Живаго», то с русского оригинала мог бы перевести только Ю.Мацкевич. Если невозможно будет найти русский текст, то я сам был бы готов посвятить около 10 месяцев жизни, чтобы перевести с итальянского (но только после осуществления моих собственных писательских планов, то есть начиная с мая-июня будущего года). Разумеется, в обоих случаях стихи доктора Живаго должен был бы перевести Милош. Взвесьте всё это, потому что сегодня роман Пастернака даже в эмиграции может быть успехом и почти доходным предприятием. (...)

Наилучшие пожелания

Густав Герлинг-Грудзинский

Густав Герлинг-Грудзинский — Ежи Гедройцу

Неаполь, 2.XI.[19]58

(...)

...прочитав сегодня в прессе, что Пастернак послал письмо Хрущеву, я решил не писать эту статейку «Одинокая радость в Переделкине». Не то чтобы я П. за это осуждал, — он не мог сделать ничего другого, если хочет остаться в России. Но я считаю, что в этих новых обстоятельствах не следует осложнять его положение обострением полемики вокруг Нобелевской премии.

(...)

Их моих телефонных переговоров с Римом вижу, что на расстоянии мало что удастся сделать в вопросе получения авторских прав на польский перевод «Д.Ж.», поэтому завтра, вероятно, поеду в Рим. Разумеется, дам Вам знать, если узнаю что-то конкретное.

Наилучшие пожелания

Густав Герлинг-Грудзинский

Ежи Гедройц — Густаву Герлингу-Грудзинскому

3.XI.[1958]

(...)

Благодарю за письма от 30-го и 31-го, которые пришли сегодня. Телеграмму послал сегодня утром. Ясно, что прошу статью. Пастернака необходимо пробить, а прежде всего — как следует истолковать, так чтобы это заставило польский литературный мирок распрямиться, а не еще больше оподлеться.

Слава Богу, что Вы получили «Лит. газету» из Мюнхена. Здесь она полностью разошлась, и книжный магазин несмотря на обещания не смог мне ее доставить. В таких обстоятельствах придется нам найти возможность подписаться на несколько советских изданий. Там всё больше интересного, не говоря о материалах, связанных с Польшей.

С нетерпением жду известий насчет авторских прав на «Доктора Живаго». Хочу закрепить их за собой как можно быстрее, а то до меня доходят слухи, что «Free Europe Press» носится с замыслом издания. Обычно такого известия было бы достаточно, чтобы я отказался издавать — так трудно найти деньги, а столько всего нужно издать. Однако в этом случае я счел бы это катастрофой, потому что это четко подчеркнуло бы, что Пастернака здесь рассматривают только как оружие антисоветской операции. Это немедленно использовали бы Советы, и таким же катастрофическим был бы результат в Польше. Вступать с ними в дискуссии бесцельно, так как они немедленно делают из этого вопрос престижа. Важно мне [получить права] и по другим причинам. Но здесь я прошу Вас сохранить полную тайну — никому! А именно: если бы дело дошло до моего издания, то переводом займется Федецкий вместе со всей группой «Опинье»^[5]

(...)

Возвращаясь к статейке, рассчитываю, что Вы в ней намекнете на то, какой урок должны извлечь из дела Пастернака писатели в Польше.

Наилучшие пожелания

Ежи Гедройц

Что касается авторских прав, то, может, для скорости и экономии Вашего времени попробуете подтолкнуть это по телефону. Все затраты верну с готовностью.

Густав Герлинг-Грудзинский — Ежи Гедройцу

6.XI.[19]58

(...)

Вчера вернулся из двухдневной поездки в Рим. Дело выглядит следующим образом. После многочасовых разговоров (от которых у меня до сих пор еще голова распухла) мне удалось полностью убедить директора римского представительства Фельтринелли Серджо Д'Анджело (я с ним подружился: это бывший коммунист, и именно он как бывший представитель Фельтринелли в Москве, раздобыл у Пастернака рукопись «Доктора Живаго») ⁶. Сам он, однако, не мог принять решение и сразу написал письмо Фельтринелли (который в настоящий момент в Лондоне), представив нашу просьбу в самом благоприятно свете. Трудности — не финансового порядка (Фельтринелли считается одним из самых богатых людей в Италии), но «политического»: мне пришлось его убедить, что «Культура» — левая группа и не принимает участия в американской холодной войне. Дело в том, что хотя Фельтринелли и вышел из партии, но остался чувствителен к некоторым вопросам, о которых Вы догадываетесь. Уже из этого я делаю вывод, что у «Free Europe Press» нет здесь никаких шансов и что если Ф. даст польские права, то только нам. Мне очень помогло то, что Д'Анджело читал по-итальянски мою книгу и его сильно взволновало упоминание про мой очерк о П. в атаке «Литературной газеты». Когда я сказал ему, что этот очерк был сначала напечатан в «Культуре», он прямо подпрыгнул. Кончилось на том, что он пригласил меня к себе на ужин и расстались мы очень сердечно. Теперь надо ждать ответа Ф.

Чтобы напомнить Вам, в чем состоят возражения Ф.: он уступил Мутону в Голландии (издатель славистики) русские права. Мутон издал 3 тысячи экземпляров, тысячу продал какому-то ватиканскому учреждению, которое в ватиканском павильоне на «Экспо» распространила это за несколько дней среди советских туристов. Вспыхнул небольшой скандал, так как Ф. не хочет, чтобы его имя соединяли с переброской книги в Россию, организованной церковными сферами. Я объяснил своему собеседнику, что и мы намерены перебросить несколько сот экз. польского издания в Польшу, но совершенно иначе. Одним словом, я всё время играл и (по крайней мере у Д'Анджело) выиграл на левизне «Культуры». Но ключ в руках Ф. Я должен получить ответ от Д'Анджело сразу, как только ему придет письмо от Ф.

Наилучшие пожелания

Густав Герлинг-Грудзинский

Решение с Федецким и группой «Опинье» замечательное, тем более что, если мы получим права на польский перевод, надо будет спешить.

(...)

Густав Герлинг-Грудзинский — Ежи Гедройцу

Неаполь, 13.XI.[1958]

(...)

Был здесь Федецкий. Действительно очень милый и умный при условии, что с ним не разговариваешь о «Докторе Живаго». В своем упрямстве он заходит так далеко, что более интересной находит новую русскую прозу типа... Овечкина. Это, по моему ощущению, вопрос престижа. Федецкий когда-то сказал Пастернаку, что роман ему не нравится, вызвал этим у П. немалую горечь, и теперь ему стыдно отступить.

Наилучшие пожелания

Густав Герлинг-Грудзинск

ий

Ежи Гедройц — Густаву Герлингу-Грудзинскому

17.XI.[1958]

Меня тоже беспокоила тень F[ree] E[uropе] в вопросе «Доктора Живаго». Могу Вас заверить, что моя безумная инициатива никак не связана с FE. Я не только не получил ни малейших предложений от них по этому вопросу, но, нервно разыскивая средства на польское издание, исключил прямую помощь FE. Не потому чтобы у меня были принципиальные оговорки (с любой другой книгой эта помощь была бы ценной), да только с Пастернаком дело особенно щекотливое. Если мне удастся найти деньги, то хотелось бы, чтобы они были такими, о которых я мог бы написать: «при помощи... и т.п.». Дело невероятно усложняется, потому что я не могу прилагать никаких стараний, не имея авторских прав, а время уходит, и, не говоря уже о том, что Федецкий может тем временем вернуться в Польшу без окончательной договоренности насчет перевода, — пройдет интерес.

Если говорить о ближайшем номере «K[ультуры]», то он будет под знаком Живаго, и думаю, вероятно, без преувеличения, что на уровне, как до сих пор посмотреть, резко отличающемся от сечки, которую печатает мировая пресса.

Не будете ли Вы так добры при случае спросить Д'Анджело, есть ли уже издание на русском языке. Мне нужно 4 экз., за которые, само собой разумеется, я им сразу заплачу. Меня просят об этом из Польши, в частности (это только для Вашего сведения) из близкого окружения Гомулки. Очень забавно.

Наилучшие пожелания

Ежи Гедройц

Густав Герлинг-Грудзинский — Ежи Гедройцу

19.XI.[1958]

(...)

Наконец-то победа! Вчера поздно вечером получил прилагаемую телеграмму. Ее содержание: «Согласие на перевод дано. Фельтринелли хочет с Вами поговорить, утром Вы застанете его в римской редакции».

Только что говорил по телефону с Фельтринелли. Речь идет только о том, чтобы Вы написали ему официальное письмо на фирменной бумаге с просьбой о разрешении, на которое он письменно ответит согласием^[6].

Ежи Гедройц — Густаву Герлингу-Грудзинскому

19.I.[1959]

(...)

Спешу сообщить, что [Ежи] Стемповский взялся за перевод и собирается сделать его до мая. У меня камень с сердца упал. Остается еще вопрос поэтического перевода. Если Зб[игнев] Херберт за это не возьмется, то предложу [Юзефу] Лободовскому. Хочу в мартовском номере объявить подписку и сделать листовку о подписке, которую лондонская пресса, может быть, согласится добавить к своему тиражу Как Вы знаете, я пессимист насчет эмигрантского читательского рынка, но истерия вокруг Пастернака может помочь. В таких обстоятельствах есть шансы, что книга будет готова к июлю, так что ее можно будет распространить на фестивале [молодежи и студентов], а значит, возможно, FE сколько-нибудь закупит. (...)

Наилучшие пожелания

Ежи Гедройц

Густав Герлинг-Грудзинский — Ежи Гедройцу

Неаполь, 23.I.[19]59

(...)

Не могу избавиться от восхищения (соединенного с легким скептицизмом), что Стемповский решил справиться с «Доктором Живаго» за 4 месяца. Это будет рекорд, тем более что он опровергнет легенду о черепаших темпах работы Гостовца^[7]

Наилучшие пожелания

Густав Герлинг-Грудзинский

Ежи Гедройц — Густаву Герлингу-Грудзинскому

22.II.[1959]

(...)

«Доктор Живаго» продвигается. Стемповский уже выслал мне две первые главы перевода. Действительно отлично. Если бы была премия для переводчиков, без всякого сомнения ее следовало бы присудить ему. Переводы Лободовского, которые я

тоже частично получил, тоже очень хороши. Начинаю большую — по моим возможностям — кампанию подписки. Перспективы скорее хорошие.

Думаю, однако, что «Живаго» выйдет в Советском Союзе. Получил новые подтверждения этого слуха. (...)

Ежи Гедройц

Ежи Гедройц — Густаву Герлингу-Грудзинскому

29.VI.[1959]

(...)

«Живаго» готов, заканчиваем переплет и около 5 июля разошлем подписчикам. Удалось.

Ежи Гедройц

Много лет спустя Ежи Гедройц констатировал, что из книг, которые он издал, «Доктор Живаго» пользовался у читателей наибольшей популярностью: «Он вышел тремя изданиями, общим тиражом 15 тысяч экземпляров. Такого тиража мы больше не достигали. Этот успех был для меня весьма приятной неожиданностью. Впрочем, большинство наших бестселлеров были для меня такой неожиданностью, может быть, ввиду моей крайне пессимистической оценки эмигрантского издательского рынка. Единственным исключением были книги Солженицына, которым предшествовала такая реклама, что его успех — не только «Архипелага ГУЛАГ», но и более ранних романов — казался мне довольно естественным. Но до рекорда Пастернака ему было далеко» (Jerzy Giedroyc. Autobiografia na cztery ręce. Opr. i posłowiem opatrzył Krzysztof Pomian. Warszawa, 1994, s.198).

Публикация Здислава Кудельского

-
1. «Темпо презенте» — римский ежемесячный журнал, издававшийся в 1956–1968 Николай Кьяромонте и Игнацио Силоне. Герлинг занимался в нем проблематикой Восточной Европы и СССР. В архиве Герлинга в Неаполе есть шесть писем Николы Кьяромонте (между 25.11.1957 и 25.02.1958) относительно итальянского издания «Доктора Живаго», о

- котором Густав Герлинг-Грудзинский написал статьи в «Иль мондо» и «Темпо презенте» (сведения от Марты Герлинг).
2. B.Pasternak. *Poesie*. Introduzione e note di Angelo Maria Ripellino. Torino: Einaudi, 1957.
 3. В архиве Герлинга-Грудзинского в Неаполе хранятся письма Анджело Марии Рипеллино относительно выбора стихотворений Пастернака (сведения от Марты Герлинг).
 4. Gustavo Herling. *Da Gorki a Pasternak. Considerazioni sulla letteratura sovietica*. Roma: Opere Nuove, 1958.
 5. «Опинье» («Мнения») — начавший выходить в 1957 варшавский ежеквартальный журнал под редакцией известного переводчика русской поэзии Северина Полляка. Здесь впервые в мире были напечатаны отрывки из «Доктора Живаго» — несколько глав в переводе вскоре скончавшейся Марии Монгирд. После вмешательства советского посольства и травли, вызванной выходом романа в Италии, ПИВ расторг договор с Полляком на перевод всего романа. После посвященной журналу записки отдела культуры ЦК КПСС от 30.08.1957 «Литературная газета» напечатала статью «Чьи это “Мнения”?», а журнал не дожид до третьего номера. (Сведения — из послесловия Адама Поморского к его польскому изданию Мандельштама.) Странно, но, видимо, ни Гедройц, ни Герлинг об этой публикации тогда не знали, хотя и общались с Земовитом Федецким, одним из редакторов «Опинье», безусловно к ней причастным.
 6. В архиве Густава Герлинга-Грудзинского в Неаполе хранятся письма Серджо Д’Анджело («Giangiacomo Feltrinelli Editore — Roma») от 11.12.1958 и 24.02.1960 относительно книги Герлинга «Da Gorki a Pasternak» и прав на польское издание Пастернака (сведения от Марты Герлинг).
 7. Следует добавить, что Герлинг договорился о передаче авторских прав бесплатно.
 8. Павел Гостовец — псевдоним Ежи Стемповского.

ПОЛЬСКОЕ ВЫСОКОМЕРИЕ И ЛИТОВСКИЕ ФОБИИ

Долгое время как литовцы, так и поляки при каждом удобном случае повторяли, что отношения между их странами — самые лучшие за всю историю. Но вот уже на протяжении нескольких последних лет говорится, что отношения плохие. Что же случилось?

Список польских претензий к Литве довольно длинный. Прежде всего речь идёт о польском меньшинстве в Литве. По мнению Варшавы, это меньшинство подвергается самым разным притеснениям. Литовские власти, несмотря на неоднократные обещания, так и не решили вопрос с написанием польских фамилий. В последнее время — в связи с реформой школьного образования в Литве — говорится о притеснениях в отношении польского школьного образования и даже о стремлении его ликвидировать. На территориях, где компактно проживают литовские поляки, не разрешается размещать двуязычные дорожные знаки и таблички с названиями улиц.

Варшава ожидает

В Литве по правилам языка все иностранные фамилии пишутся в литовской форме. Президент Буш по-литовски пишется «Бушас», Обама — «Обамас», Милош — «Милошас», а Ковальский — «Ковальскис».

В соответствии с литовской языковой нормой и литовским законодательством каждая фамилия имеет три формы: мужскую (например, Ковальскис) и две женских — отдельно для замужних женщин (Ковальскене) и для незамужних девушек (Ковальскайте). Президент Литвы — дама незамужняя, ее зовут Даля Грибаускайте. Ее отца звали Грибаускас, а маму — Грибаускене.

Польско-литовский договор 1994 г. гарантировал представителям польского меньшинства в Литве и литовского в Польше «использование своих имен и фамилий в звучании языка национального меньшинства»; в этом же договоре было одновременно обещано, что «конкретные правила написания имен и фамилий будут определены отдельным соглашением».

С момента ратификации договора литовский гражданин Ковальскис — если захочет — может называться «Ковальский», только буква «w» в его фамилии будет заменена на «v», ибо в литовском алфавите нет буквы «w». И наоборот, литовец, гражданин Польши, который до сих пор назывался «Маковский», может — согласно родному языку — называться «Макаускас». Однако обещанное соглашение о написании фамилий, о котором было объявлено 17 лет назад, до сих пор не подписано. Но в Польше об этом не говорят. Ожидают от литовцев, что они в одностороннем порядке урегулируют вопрос написания польских фамилий.

Кстати говоря, под нажимом Польши литовское правительство проект такого соглашения подготовило, но Сейм его не принял, в связи с чем мы обиделись на... литовское правительство.

Почему мы хотим, чтобы литовцы урегулировали вопрос в одностороннем порядке, а не пытаемся вести переговоры о соглашении, обещанном в договоре? Кажется, в таком соглашении, по мнению нашего МИДа, нет необходимости, ибо проблема существует только для литовской стороны. В Польше литовцы вроде бы могут писать фамилии согласно написанию на литовском языке; но это не совсем точно, об этом я скажу чуть позже. Вести переговоры о соглашении ни одна из сторон не пытается с 1998 года. Попытки прекратились, когда обе стороны представили предварительные, взаимно противоречащие друг другу проекты соглашения. С тех пор Варшава ожидает, что этот вопрос — так, чтобы нас это удовлетворяло, — решит Литва.

В Польше литовцы, являющиеся польскими гражданами, могут, правда, использовать фамилии в литовском звучании и написании, но лишь в мужской форме, единой для мужчин, замужних женщин и незамужних девушек. Жена Макаускаса может называться так же, как он, — Макаускас, а не Макаускене, как того требуют правила литовского языка и их обычай. Их дочь тоже не может называться Макаускайте. Это всё равно что мы бы нашего Новака назвали Новаковна.

В ответе на запрос польский министр иностранных дел с юмором пишет: «Если польский гражданин литовской национальности представит документ из литовского бюро гражданского состояния, в котором его фамилия будет записана с учетом одной из трех различных форм: для мужчины, замужней женщины и незамужней девушки, то такая же запись его фамилии будет внесена в польский документ о гражданском состоянии». Откуда родившаяся в Пунске или Сейнах польская гражданка перед выдачей ей

польского документа о гражданском состоянии может взять такой литовский документ? Ей что, надо родиться с этим документом в руках? Откуда выходящая замуж и предстоящая перед чиновником из органа, выдающего документ о гражданском состоянии, или перед приходским священником представительница литовского меньшинства может взять литовский документ о гражданском состоянии с фамилией, полученной ею от мужа, в ее литовском написании? Этого министр не объясняет.

Итак, это неправда, что вопрос с написанием фамилий польских литовцев не требует правового урегулирования.

Вместо того чтобы обижаться и кивать на литовцев, пытаться добиться от них разрешения вопроса в одностороннем порядке, а заодно вводить в заблуждение польское общественное мнение, надо подготовить новый проект обещанного в том договоре соглашения и вернуться к переговорам.

Эту проблему может решить только двустороннее соглашение, тем более что в последнее время Европейский трибунал справедливости в Люксембурге (учреждение Евросоюза), рассматривая дело литовской польки и ее родившегося в Польше мужа, констатировал, что действующие в Литве принципы написания фамилий в литовской транскрипции не нарушают принципов ЕС.

Кстати, МИД не знает, сколько поляков в Литве заинтересованы в изменении написания своей фамилии. По оценке Союза поляков в Литве, их может быть 20%. Даже если считать эту оценку достоверной, то очевидно, что написание фамилий — не самый существенный вопрос для преобладающего большинства литовских поляков.

Литуанизация польской школы

Недавно волну возмущения и протестов в Польше вызвала реформа литовского законодательства в области просвещения. Депутаты от партии ПиС подготовили даже проект специального постановления Сейма по этому вопросу. В нем говорится, что реформа — это попытка ликвидировать систему польского просвещения в Литве. Даже «Газета выборча» в статье «Польские школы должны говорить по-литовски» сетовала: «Литовский Сейм принял вчера дополнение к закону о просвещении, которое может привести к закрытию нескольких десятков польских школ в Литве».

Прежде чем начинать разговор о притеснениях, которые испытывают польские школы в Литве, хорошо бы вспомнить, что Литва — это единственная в мире страна, кроме Польши, где можно получать образование на польском языке на всех уровнях обучения, включая высшее. В Литве действует более 120 школ, где преподавание ведется на польском языке.

В чем же заключается эта «угрожающая польскому просвещению в Литве» реформа? Дело в том — и этого литовские поляки боятся больше всего, — что должна произойти «оптимизация сети школ». Следствием этой оптимизации должно стать закрытие маленьких школ в небольших местностях. Школ, в которых слишком мало учеников. Это грозит закрытием самых маленьких польских школ, в которых учеников просто не хватает. Как уверяет посол Литвы в Польше Лорета Закарявичене, речь может идти лишь о тех школах, в которых давно учителей больше, чем учеников. Следует добавить, что школы финансируются муниципалитетами, а в тех районах, где действуют польские школы, муниципалитеты находятся в руках поляков. В отличие от Литвы Польша вышла из кризиса, справившись с ним, но и в Польше, исходя из соображений экономии, самые маленькие школы закрываются.

Реформа сферы просвещения также вводит в школах с нелитовским языком преподавания обязательное преподавание нескольких предметов по-литовски: литовского языка, истории и географии Литвы. По мнению некоторых польских политиков и публицистов, это и есть проявление той самой, вызывающей сопротивление литуанизации польской школы в Литве.

Что лучше для выпускников польских школ в Литве, которые с Литвой связывают свое будущее, — хорошо знать литовский язык или знать его слабо?

Как с этим обстоит дело в Польше? Представители национальных меньшинств могут учиться или в школах, где преподают их родной язык, а остальные предметы преподаются на польском языке, или в школах, где всё обучение в принципе ведется на языке меньшинства. Чтобы создать класс с преподаванием языка или с обучением на языке меньшинства в начальной школе или гимназии, желание получить такое образование должны выразить не менее семи учеников, а в школе уровнем выше гимназии — не менее 14 ти.

В школах с обучением на языке меньшинства занятия ведутся на этом языке, за исключением занятий, касающихся в

начальной школе, на I этапе образования, общих предметов в рамках преподавания польского языка. На II этапе образования по-польски преподается польский язык, история и география Польши. В остальных школах (уровень выше гимназии) на польском языке преподаются польский язык, история и география Польши.

Как видно на примере литовской реформы, школы национальных меньшинств с точки зрения количества предметов, преподаваемых на государственном языке, уподобились школам национальных меньшинств в Польше.

Стандарт двуязычного пограничья

Что касается двуязычных названий местностей и улиц, то на протяжении всех 20 лет польско-литовских отношений тут ничего не изменилось, по крайней мере с литовской стороны. Литовцы последовательно не соглашались на двуязычные названия. Польша поначалу на этом особенно не настаивала, ибо не хотела допустить, чтобы такие двуязычные указатели появились в Верхней Силезии и на Опольщине.

После принятия у нас закона о национальных меньшинствах, размещение двуязычных табличек с названиями стало возможным. Есть лишь требование, чтобы в каждой такой местности представители меньшинства составляли не менее 20% населения и чтобы совет гмины принял соответствующее постановление. Такой возможностью воспользовались местные общины немцев в Силезии и литовцы в Пунске. После многочисленных скандалов, после устроенного властями гмины референдума (в законе нет такого требования) только одна Беянка на территории компактного проживания лемков имеет также табличку на украинском языке. После опыта Беянки другие деревни с компактным проживанием лемков отказались от попыток размещать двуязычные таблички с названиями.

Литовцы по-прежнему не соглашаются на двуязычные таблички. Упорствуют, хотя двуязычие названий на пограничных территориях — это сегодня европейский стандарт.

Памятуя о том, что и нам еще каких-нибудь полтора десятка лет тому назад было нелегко согласиться на двуязычные таблички, мы пытаемся литовцев в этом убеждать, а не покрикивать на них.

Попытка принудить к чему-то силой вызывает сопротивление. В том, что дву-, а кое-где и триязычие в табличках с названиями местностей и улиц — в Европе явление нормальное, убеждаются тысячи молодых литовцев, выезжающих в Западную Европу на заработки или в качестве туристов. Они видят подобные таблички и дорожные знаки на немецко-французском, австрийско-итальянском и даже на румынско-украинском пограничье. Почему же Литва должна отличаться с этой точки зрения от остальной Европы?

Зачем нам эти Можейки?

Еще один аспект, влияющий на польско-литовские отношения, — это проблема, связанная с нефтеперерабатывающим комплексом в Можейках (Мажейкяе) в Литве. Покупка этого комплекса польской фирмой «Орлен» была мотивирована не экономическим расчетом, а скорее политико-амбициозными соображениями. Похоже, всё указывает на то, что с этой инвестицией Польша промахнулась.

Нефть надо купить в России и привезти ее на нефтеперерабатывающий комплекс. То, что обещало великий экономический и одновременно политический успех, стало источником бесконечных раздражений и сложностей. Мы ожидали, что литовцы снизят для нас цену за перевозку нефти, но им это и в голову не пришло: к бизнесу они относятся с установкой на прибыль (а кто ожидал, что будет иначе?), они жадные и хотят заработать как можно больше.

Почему, покупая нефтеперерабатывающий комплекс, мы не сторговались заодно по поводу цены на перевозку нефти?

И вообще, зачем было покупать этот комплекс? Разве теперешние проблемы нельзя было предвидеть?

АК как УПА

К этому надо прибавить ряд широко распространяемых и комментируемых у нас недружественных в отношении Польши и поляков высказываний литовских политиков, всерьез говоря, маргинальных. Недавно МИД вызывал на ковер госпожу посла Литвы в связи с глупым высказыванием находящегося на пенсии директора школы в Эйшишкесе, который на каком-то там собрании сказал, что поляки в Литве — это пятая колонна, а учащихся польских школ сравнил с гитлерюгендом. Впрочем, за это высказывание принес свои извинения представитель литовского правительства.

Я не думаю, что польского посла в Вашингтоне мог бы кто-то вызвать на ковер в Госдеп за высказывания какого-нибудь польского депутата, который после того, как было объявлено, что президентом США стал Барак Обама, начал бы пророчить с парламентской трибуны конец эры белого человека. Чрезмерная реакция на идиотизм только повышает ранг идиотизма.

Польско-литовские отношения никогда не были простыми. События совместно прожитой истории по-разному сохранились в памяти поляков и литовцев. Для нас Ягайло был великим королем, а для литовцев — предателем. Люблинская уния у нас ассоциируется с созданием ягеллонской державы, а у них — с доминированием Польши и польской культуры. Для нас годовщина принятия Конституции 3 мая — государственный праздник, а литовцам она до недавнего времени напоминала об утрате суверенной государственности.

Пробуждение литовского национального самосознания в конце XIX века происходило через отрицание всего польского. Чтобы быть литовцем, надо было сначала сказать: «Я не поляк».

Большинство литовских лидеров национального возрождения, даже если польский не был их родным языком, владели им не хуже, чем литовским. После Первой Мировой войны литовцы не желали никакой унии с Польшей, они создали собственное национальное государство. Начался продолжавшийся на протяжении всего межвоенного периода спор за Вильно/Вильнюс. Литовцы считали, что этот город принадлежит им по историческим соображениям — как историческая столица Великого Княжества. Поляки считали, что если большинство жителей города — поляки (фактически литовцы составляли около 2% жителей), то, исходя из принципа самоопределения населения, город должен принадлежать Польше. Литовцы не принимали этого к сведению, до сих пор они считают межвоенный период периодом польской оккупации Вильнюса. Опыт Второй Мировой войны добавил еще и спор об АК на Виленщине. Мы готовы идеализировать эту армию, литовцы же наоборот, относятся к АК примерно так же, как мы относимся к УПА.

Благодаря тому, что в начале последнего десятилетия XX века Литва обрела независимость, а Польша — полный суверенитет, возникла возможность выстроить взаимные отношения заново. Однако стереотипы оказались очень сильны. К этому прибавилось еще и поведение части лидеров польской общины, которые в споре литовцев с Москвой встали на сторону

последней. При голосовании по вопросу принятия Акта независимости Литвы в Верховном совете воздержались от голоса лишь несколько польских депутатов, тем самым они не поддержали независимости. Некоторые польские лидеры поддержали путч Янаева и пытались создать польский автономный округ.

Этот опыт начального периода независимости отражается в буквально маниакальных позициях многих литовских политиков по сей день.

Мы нужны друг другу

Литва, которая в своей истории трижды рисковала утратить язык и культуру, болезненно и аллергически реагирует теперь на всё, что ослабляет, как ей представляется, ее литовскую суть. Отсюда эти непонятные и смешные для нас административные санкции, касающиеся надписей, деятельность Инспекции литовского языка, наказывающей за «засорение» языка иностранными словами и терминами, даже официально утвержденные литовские названия блюд в закусочных «Макдональд».

С другой стороны, литовцы в Вильнюсе составляют менее 60% жителей (поляки — почти 20%, русские — 14%), а в районах к югу и востоку от Вильнюса поляки составляют 60–80%. Литва насчитывает чуть более 3,23 млн. жителей — столько же, сколько Малопольское воеводство.

В Силезском и Опольском воеводствах вместе взятых — жителей почти в два раза больше, чем во всей Литве, а 120-тысячное немецкое меньшинство в состоянии вызвать беспокойство своей «оптацией» у лидера крупнейшей в Польше оппозиционной партии. Что же странного, что в Литве существуют политики, которых хронически беспокоит «польская оптация»?

За последние двадцать лет произошло существенное сближение и началось фактическое сотрудничество между польскими и литовскими историками. Удалось отделить историю от текущей политики. Совместные исследования, конференции, переводы исторических монографий стали нормой. Представляется, что если политики обеих сторон не оживят «историческую политику», то историки справятся, и история раз и навсегда перестанет отражаться на политике. Также представляется, что серьезный барьер, затруднявший взаимные отношения, бесповоротно исчез.

Остается текущая политика. Членство обеих стран в НАТО и Евросоюзе должно облегчить задачу ее проведения. Совместные действия Польши и Литвы могут эффективно влиять на политику всего ЕС, особенно на его восточную политику. С этой точки зрения Польша и Литва нужны друг другу.

Вопросы польского меньшинства в Литве должны постепенно решаться. А Польша должна четко заявить, что не будет поддерживать те требования лидеров польского меньшинства, которые выходят за рамки европейских стандартов. Это необходимо для того, чтобы умерить притязания лидеров меньшинства, а Литве это даст гарантии, что с нашей стороны не будет поддержки действиям, которые пусть даже в отдаленной перспективе могли бы быть направлены против ее территориальной целостности или унитарного характера государства.

Преодолеть высокомерие

С Литвой следует разговаривать, убеждать ее, а не пытаться к чему бы то ни было ее принуждать. А мы между тем таких разговоров избегаем. Предыдущий посол Литвы в Польше, ныне замминистра иностранных дел Литвы Эгидиус Мейлюнас, который лично старался способствовать сближению польских и литовских интеллектуальных кругов и который для польско-литовского сближения на самом деле сделал очень много, на протяжении многих месяцев не мог попасть на прием к польскому министру иностранных дел. Даже когда заканчивалась его миссия, министр не принял его с прощальным визитом, а принял лишь замминистра. Министр заглянул на минутку, чтобы сказать прощающемуся послу, что у его преемницы не будет легкой жизни. Действительно — так оно и есть. Чтобы передать верительные грамоты, ей пришлось дожидаться несколько месяцев, а это не только унижительно, но и не позволяет послу действовать официально.

Я не знаю, насколько политика нашего МИДа в отношении Литвы мотивирована сведением внутренних счетов. Не идет ли здесь речь также о том, чтобы показать, что вот-де президент Качинский 14 раз приезжал с визитом в Вильнюс и не только ничего не решил, но еще больше раззадорил литовцев?

Не нашей ли спесью вызвано убеждение, что мы сумеем вытребовать от Литвы всё, чего мы от нее ожидаем? Я думаю, мы в состоянии вытребовать многое. Но не советую. В результате литовцы отыграются на другом, а взаимная неприязнь и недоверие будут только углубляться. В ответ на

нашу спесь лишь углубляются литовские фобии. Не только среди политиков, но и в обществе в целом. И это не самый лучший фундамент для формирования взаимных отношений с соседями. Это путь в никуда.

Ян Видацкий, 1948 г.р., — профессор, доктор юридических наук, адвокат, замминистра внутренних дел (1990–1992), посол Польши в Литве (1992–1996), ныне депутат Сейма (Демократическая фракция).

ДОЛИНА ИССЫ

XXII

Близилась весна, лед на пруду покрылся водой, и на нем исчезли царапины от башмаков Томаша — он катался по нему или просто забавлялся, стуча по зеленой поверхности, в которую вмерзли недосыгаемые насекомые и листья водорослей. Снег был уже усталый, в полдень с крыши капало, и капли пробивали вдоль дома линию из дырочек. Вечером светло-розовый свет на белых бугорках сгущался, становясь желтым и карминовым. Следы людей и зверей темнели собравшейся в них влагой.

Томаш увлеченно рисовал, а толчком к этому послужили немецкие иллюстрированные журналы, привезенные бабкой Дильбиновой. В них он разглядывал пушки, танки и аэроплан «Таубе», который ему чрезвычайно понравился. Аэроплан два раза появлялся над Гиньем, но высоко — люди собирались и показывали пальцами в небо, откуда доносился гул. Теперь Томаш убедился, как он выглядит на самом деле. На его рисунках солдаты бежали в атаку (движение ног передать нетрудно — нужно согнуть их палочки там, где колени), падали, из стволов вырывались пучки прямых линий и летели пули — ряды прерывистых черточек. А над всем этим парил «Таубе».

Прежде чем перейти к случаю, имеющему некоторое отношение к тем сценам, которые Томаш придумывал на бумаге, надо рассказать о расположении комнат во флигеле. Зимой жили только в той его части, окна которой выходили в сад, то есть внутрь угла, образуемого старой усадьбой и пристройкой. Сначала ткацкая (там работал Пакенас), затем кладовка для шерсти и семян, дальше комната бабки Дильбиновой, а за ней та, в которой спал Томаш. Потом логово бабушки Миси и уже в самом углу — дедушка.

В то утро Томаш проснулся рано — ему было холодно. Он вертелся и ежился, но ничего не помогало: на него дул морозный воздух. Отвернувшись от окна, он натянул на себя одеяло и стал разглядывать солнечные блики на стене. У стены на большом куске полотна рассыпали муку, чтоб подсыхала. Лениво водя по ней глазами, он вдруг заинтересовался: что-то в ней блестело, словно кристаллики льда или соли. Томаш

вскочил и, присев, потрогал: осколки стекла. Тогда он удивленно оглянулся на окно. В стекле была дыра размером с два кулака, а вокруг звездообразно расходились трещины. Он тут же побежал к бабушке Мисе, крича, что ночью кто-то бросил из сада камень.

Однако это был не камень. Искали долго. Наконец, покопавшись под кроватью Томаша, дед вытащил из самого угла черный предмет и велел его не трогать. Послали в село за кем-нибудь служившим в армии. Черный предмет (Томаш потом мог рассматривать его сколько душе угодно) был похож на большое яйцо и очень тяжел. Посередине его опоясывало как бы зубчатое кольцо. В саду под окном обнаружили следы сапог и взрыватель. Кто-то вспомнил еще, что ночью собаки лаяли с особым остервенением.

Граната не взорвалась, хотя могла, и тогда, наверное, схоронили бы Томаша под дубами, недалеко от Магдалены. Мир продолжал бы жить, вернулись бы, как обычно, из заморских странствий ласточки, аисты и скворцы, а осы и шершни все так же выедали бы изнутри сладкие груши. Зачем понадобилось, чтобы она не взорвалась, не нам здесь судить. Она ударилась о стену, отскочила и катилась к кровати Томаша, а внутри нее зрело решение на самой границе «да» и «нет».

Дедушка Сурконт обеспокоился. В ответ на все рассказы о нападениях на усадьбы, чему было немало примеров совсем близко, на востоке, он благодушно покашливал и обращал эти страхи в шутку. Даже когда по лесам бродили толпы русских «пленников», промышлявших разбоем, он не принял никаких мер предосторожности. Кто из окрестных жителей мог бы на него напасть? Разве его не знали здесь с детства, и разве он причинил кому-нибудь зло? Ну, если только невольно... Что до ненависти между поляками и литовцами, то он убеждал поляков: литовцы имеют право на свое государство, а они, говорящие по-польски, — тоже «gente Lithuani»^[1]. Однако гранату кто-то бросил. Кто и в кого? Посчитали окна: одно — деда, два — бабушки Миси, два — в комнате Томаша. Если бы это сделал человек, хорошо знающий дом, он бы, наверное, не метил в ребенка. Значит, либо это кто-то издалека, либо он ориентировался лишь приблизительно и ошибся.

Бабушку Мисю ничуть не взволновало, что ее могли до такой степени не любить. Она излила на деда обычную порцию язвительных замечаний о его литвомании и крестьянофильстве, и чем ему теперь за это отплатили. Казалось, она не слишком печется о своей безопасности.

Впрочем, предпринять какие-либо предохранительные меры было трудно: деревянные ставни закрывались снаружи, и только для ставней бабушки Дильбиновой отыскивали теперь висячий замок, поскольку она в самом деле боялась. После этого чудесного спасения она баловала Томаша как никогда и извлекла из глубин сундука, вмещавшего непостижимые сокровища, продолговатую коробочку с настоящими красками и кисточкой. Первым его рисунком был снегирь, потому что снегири (а они все время клевали зернышки в кустах перед домом) — это много красного, к которому добавляется голубое, смешанное с каплей серого и черного. Снегирь и пестрый дятел с красной головой, стучащий высоко над землей и стряхивающий с деревьев белый смерзшийся снег, — самые большие сюрпризы зимы.

Случай с гранатой выходил за рамки первопроходческих и военных фантазий Томаша. Крадущаяся сила, ночная тьма — это было совсем не то, что его солдаты и пираты. Следы на снегу заставляли его представлять высокие сапоги, стянутые ремнем куртки, перешептывание. В нем зарождалась подозрительность, и он пугался, когда встречал кого-нибудь из тех крестьянских парней, от которых веяло чем-то угрожающим, приобретенным в армии. Правда, еще летом, подходя к Иссе, он ступал осторожно, как индеец, — ведь они сидели там в зарослях. Раздавались смех и свист. Они стреляли из винтовки, и пули скакали по поверхности воды, как плоские камушки. Уважением в селе они не пользовались и отгораживались от других. Акулонис грозил им кулаком и называл бандюгами, потому что они пугали рыбу, а однажды даже глушили ее гранатами, чем вызвали всеобщее осуждение: так рыбачить слишком легко, негоже.

Собственно говоря, меру безопасности предприняли только одну: в ткацкую поставили кровать, и туда переселился из свирна^[2]. Пакенас, что было не слишком надежной защитой. Он слыл ужасным трусом — возможно, эта слава закрепилась за ним с тех времен, когда он поднял крик, добравшись до живых людей после бегства от духа скердзя^[3]. Впрочем, к таким подозрениям склоняет внешний вид человека — в данном случае его выпученные глаза,двигающиеся как у рака. У Пакенаса, кроме суковатой палки, был старый револьвер, но патронов к нему не было.

XXIII

Юзеф Черный сосредоточенно взбирался по дороге в село. Он вяз в каше снега, смешанного с конским навозом, а в колеях,

продавленных полозьями саней, журчали ручейки. Юзеф расстегнул куртку из серого домотканого сукна. Перед крестом он снял шапку и прищурил глаза от блеска: белый склон, а на его вершине, на краю парка, — белая стена барского амбара. Внизу, над Леском, в заливчике Иссы, с весенним карканьем кружили вороны.

Юзеф не свернул в аллею и, пройдя место, где она начиналась, двинулся вдоль сада к куметыне^[4]. Раньше во всех избах по обе стороны дороги жили кумети — работавшие в поместье батраки. Теперь они занимали только несколько изб — в остальных ютилась всякая беднота, ходившая на заработки то туда, то сюда. Юзеф вежливо отвечал на приветствия, но слишком торопился, чтобы останавливаться. За куметыней, у креста с голубцом^[5], он повернул направо, к деревеньке Погиры и темной линии леса.

Погиры — деревня длинная, ее главная улица тянется больше версты, а есть еще и другая, поперечная. Довольно зажиточная деревня — здесь не встретишь крыш, крытых соломой, или курных изб. Сады здесь немногим хуже, чем в Гинье. Местные жители держат также много пчел, которые собирают темный мед с гречихи, клевера и лесных лугов. Возле третьей избы, за выкрашенным в зеленый цвет домом американца Балуодиса Юзеф остановился и заглянул за острые доски забора. Старый мужик в коричневом шерстяном кафтане (овцы в Погирах в основном коричневые и черные) тесал во дворе бревно. Юзеф толкнул ворота и после рукопожатия заметил, что елка знатная. Старик ответил, что ничего — пригодится, а то вон свирон подпереть надо. Видимо, елка попала сюда благодаря Бальтазару, но это уже было не Юзефово дело.

Молодой Вацконис вылез откуда-то заспанный. Вычесывая пальцами солому и перья из волос, он оказывал Юзефу несколько смущенные знаки почтения, но в то же время наблюдал за ним неуверенным взглядом. Одет он был в темно-синие галифе и военную гимнастерку. Его широкое лицо помрачнело, когда Юзеф объявил, что пришел по делу.

Поставив цинковую кружку и утерев тылом ладони усы, Юзеф молча всматривался в него. Наконец облокотился на стол и сказал:

— А вот, я знаю.

Тот — в углу, на краю лавки — заморгал веками, но тут же сонно опустил их и пожал плечами.

— Нечего тут знать.

— Может, нечего, а может, и есть чего. Я к тебе пришел, потому что ты дурень. Кто тебя читать научил? Али не помнишь?

— Вы.

— Ай-ай, а может, затем научил, чтоб ты в людей гранаты бросал?

Вацконис поднял веки. Теперь его лицо было взрослым и серьезным.

— А если и я, то что? Не в людей, а в панов.

Юзеф положил на стол табакерку из карельской березы и скрутил сигарку. Вставил ее в мундштук, закурил, затянулся.

— Ты, может, видел, чтоб я за панов был?

— Не видел, но вижу.

— Отец тебе не скажет, так я скажу. Ты слушай тех, кто умнее, а не таких же, как ты. У вас головы пустые.

Вацконис сложил руки на груди, желваки у него заходили.

— Паны нашу кровь пили, и нам их не надо. Убьешь одного, второго — удерут в свою Польшу. А земля наша.

Юзеф издевательски покачал головой.

— Панов нам в Литве не надо, земля наша. От кого ты это слышал? От меня. А теперь учить меня вздумал? Хочешь жечь и убивать, как русаки?

— Царя у них нет.

— Нет, так будет. Ты — литовец, а литовцы — не бандиты. Землю у панов мы и так отберем.

— Кто там у них отберет...

— Литва отберет. А все славяне — что поляки, что русские — одна дрянь. Я в Швеции работал — по-ихнему нам жить.

Вацконис нахмурил брови и слушал, глядя в окно.

— Каждый поляк — наш враг.

— Сурконты — спокон веку литовцы.

Вацконис засмеялся:

— Какой же он литовец, ежели пан?

Юзеф опять покачал головой.

— Ай-ай, хорош, нечего сказать. Благодарю Бога, что граната не взорвалась. А кого бы она убила, тебе говорили?

— Не говорили.

— Малого Томаша. Под его кроватью нашли.

— Дильбинюка?

— Ага.

Они помолчали. Не отрывая губ от кружки, Вацконис процедил:

— Все знают, где его отец. Яблоко от яблони...

— Дурак. А на похороны пришел бы?

— А чего мне ходить?

Губа Юзефа поднялась, обнажив зубы. Он покраснел.

— Ты, Вацконис, теперь смотри. Кто тебя подговорил и кто с тобой ночью был, я тоже знаю. И твоих «Железных волков»^[6] не боюсь. Вы только с бабами да с детьми воевать умеете.

Вацконис вскочил.

— Не ваше дело, подговорил или не подговорил!

Юзеф откинулся назад на своем табурете и посмотрел на него снизу вверх.

— Ты что? Видать, из поляков, раз такой гонористый, — сказал он презрительно.

XXIV

Лед на Иссе трогался с грохотом пушечных выстрелов. Потом по реке шли льдины и несли доски, солому, вязанки хвороста, мертвых кур, а по всему этому мелкими шажками расхаживали вороны. В это же время во дворе оценилась собака Мурза, но долго сохранять в тайне свое логово ей не удалось — щенки пищали. Томаш прижимал к лицу эти теплые комочки и заглядывал им в глаза, подернутые голубой дымкой.

Рыжеватая Мурза с замызганной пятнистой мордочкой — не то волк, не то лиса — тяжело дышала, свесив язык, и благосклонно разрешала брать своих детенышей.

Пакенас положил щенков в корзинку, а Мурзу запер в деревянном сарае с одним, самым крупным и резвым, которого ей оставили. Томаш побежал за Пакенасом и догнал его у крутояра над рекой — такие обрывы сверкали желтой глиной, изрешеченной гнездами ласточек-береговушек. Лед уже сошел, в выпуклом омуте кружились вихри водоворотов.

Пакенас размахнулся и бросил песика. Всплеск, тишина; течение разорвало и погнало вниз круги, пока его голова не вынырнула немного дальше. Он перебирал лапками, опять исчез и в конце концов показался на повороте. Теперь Пакенас брал из корзинки по два щенка — одного бросал, другого прижимал к груди. Последний погрузился в воду лишь на секунду; он отчаянно боролся, но его вынесло на середину, и Томаш проводил его взглядом.

Из тепла, из окружения вещей, которых они еще не различали, — в ледяную воду. Они даже не знали, что такая вода где-то есть. Томаш возвращался в раздумье. В его любопытство закралась тень из сна о Магдалене. Он открыл дверь деревянного сарая и погладил Мурзу, которая тревожно поскуливала и сразу же вырвалась, приняхиваясь.

Первые погожие дни. На дровоколье копошились куры, а старый Гжегожуня уселся на свою лавку и что-то стругал. Ножиком, таким стертым от постоянного употребления, что лезвие сужалось почти как шило, он перерезал прутик одним махом — не то что Томаш, которому даже этим самым ножиком приходилось подрезать с двух сторон, прежде чем прутик ломался.

К дедушке Сурконту пришла Малиновская — арендовать сад. Необычная просьба, но она сказала, что хочет попробовать: сыну Домчо уже четырнадцать, и вместе они управятся. Дед пообещал, и она выгадала от того, что пришла раньше: через несколько дней с грохотом подкатила бричка Хаима, который приехал предложить в арендаторы своих родичей. В пользу Хаима говорили профессиональные гарантии и обычай — ведь арендуют всегда евреи. Но слово надо держать, и дело кончилось обычным вырыванием волос, криками и воздетыми к небу кулаками.

Малиновская — вдова, самая бедная во всем Гинье, — не сеяла и не жала: у нее была только изба рядом с паромом, без земли.

Она была низкой и коренастой, а край платка возвышался над ее веснушчатым лбом как крыша, — чуть ли не больше ее самой. Ее появление предвещало новую дружбу Томаша.

Спустя несколько месяцев, забежав в ту часть сада, что за рядом ульев (ульи стояли возле самой тропинки, и пчелы часто нападали), он увидел шалаш. Великолепный шалаш — не такой, какие строят табунщики, чтобы ночевать в лугах. Стоя посередине, не приходилось наклонять голову, а покрытие было из целых снопов соломы, прижатых жердями. Соединение на остром конце этой перевернутой буквы V укрепляли гвозди. У входа горел костер, а возле него сидел мальчик и пек на палочке зеленые яблоки. Он показал Томашу шалаш со всех сторон и изнутри.

Доминик Малиновский, веснушчатый, как мать, но высокий и с копной рыжих волос, сразу же стал кумиром Томаша, который испытывал неловкость, обращаясь к нему на «ты». Какое-то неприятное чувство тяготило его из-за этой привилегии по отношению к почти взрослому парню. Домчо допустил его к курению трубочки из ружейной гильзы, в которой была просверлена дырка, а в нее вставлен мундштук. Прежде Томаш никогда не курил, но теперь чмокал, хоть в горле у него и першило, стараясь поддерживать тление свернутого листа домашнего табака. Любой ценой — и с тех пор уже постоянно — он силился завоевать расположение холодных серых глаз.

Раньше, если он исчезал, Антонина отвечала на расспросы: «Томаш опять к Акулонисам побёг». Теперь она говорила: «Томаш в шалаше». Неодолимая прелесть дымка, вьющегося среди деревьев, а внутри — запаха подгнивших яблок, соломы. И часов, проведенных у костра. Домчо умел плевать на несколько сажений, выпускать дым через нос (тогда в воздух поднимались две струйки), ставить ловушки на птиц и куниц (в парке куница гонялась за белкой вокруг ствола липы, но с установкой этих ловушек надо было подождать до следующей зимы), и, кроме того, учил Томаша ругаться. А от него требовал рассказов о том, что пишут в книгах. Сам он читать не умел, и все-то ему было интересно. Поначалу Томаш стеснялся: знания, приобретенные с помощью букв, казались ему неполноценными (это было так же стыдно, как, например, солидарность с бабкой Дильбиновой), но Домчо настаивал и никогда не довольствовался простыми ответами. Вечно: «а зачем?», «а как?», «а если так, то почему?». И Томашу не всегда удавалось объяснить — раньше он об этом не задумывался.

Тяга и покорность. Быть может, тяга к резкости и язвительности? Домчо выступал в роли первосвященника правды — его ирония и невысказанная насмешка взрывали поверхность знакомых Томашу явлений, и он чувствовал, что как раз под этой поверхностью бурлит нечто настоящее. И даже не длинные слизняки, которых они собирали и прижигали углями, чтобы те корчились, и не оводы, которым втыкали в брюшко соломинку и отпускали летать, и даже не крыса, которую Домчо запустил в туннель между раскаленными углями. Еще дальше и глубже. В каждом походе в садовый шалаш крылось обещание.

В конечном счете догадки были верны, ибо Домчо раскрывал перед Томашем только часть своей натуры и относился к нему сдержанно. Ему не нужно было демонстрировать перед ним свое превосходство, и он снисходительно принимал почести. Кроме того, он щадил Томаша — потому что наивное доверие разоружает, а может, потому, что разумнее было не портить отношения с усадьбой. В том, как он говорил «хм м м» и обхватывал руками колени, когда Томаш упрямо хотел докопаться до недозволенных, не предназначенных для него сведений, заключалось очень многое — то самое, к чему малец тянулся. Если эта сдержанность в конце концов была внезапно нарушена, то произошло это по вине чертей с берегов Иссы или же по глупости самого Томаша, который пренебрег правилом, что нельзя всегда и везде таскаться за теми, кого обожаешь. Впрочем, откуда у него взяться такту, если он жил своими фантазиями и еще никто по-настоящему не утер ему нос.

Малиновская заглядывала в шалаш редко. В полдень она приносила сыну обед, но тоже не всегда, и Домчо варил себе щи, перочинным ножиком отрезал краюхи от большого черного каравай и уплетал их с ломтиками сала. А еще — печеные яблоки и груши. Груши в золе вкусны необычайно, а картошка, которую они тоже пекли, покрывается хрустящей корочкой, и узнать, готова ли она, можно, вбив в нее острый прутик. Антонина приходила в шалаш, чтобы вытащить оттуда за шкуру Томаша, или с корзинами за «инспекцией» — так называется часть фруктов, отдаваемая арендатором на текущие нужды усадьбы, — и тогда нужно было помогать ей. Домчо она называла игриво и грубо: «ряпужук»^[7], то есть родич всех жаб.

XXV

Здесь следует отметить, что Домчо был тайным королем. Правил он при помощи скрытого террора, и строго следил,

чтобы все обходилось без шума. На королевскую позицию ему удалось выдвинуться благодаря силе и призванию повелевать. Получившие по зубам его крепким кулаком соблюдали запрет и никогда не осмеливались жаловаться родителям. Двор, окружавший его на сельском выгоне, как и полагается, состоял из ближайших приспешников — министров — и обычных лизоблюдов для мелких поручений — например, чтобы гонять коров, если те травили поле. К самым серьезным опытам Домчо допускал только приспешников.

Его критический ум, ничего не принимавший на веру и всегда требовавший научных доказательств, обращал пристальное внимание на все, что бегают, летает, скачет и ползает. Он отрывал лапки и крылья и таким образом пытался постичь тайну живых механизмов. Не обходил он вниманием и людей, и тогда его министры держали объект — тринадцатилетнюю Верчу — за ноги. Достижения техники его тоже интриговали: он долго смотрел, как строят мельницу, пока не смастерил ее точную модель — даже с собственными усовершенствованиями, — которую установил там, где в Иссе впадал ручеек.

Навязывая свою волю ровесникам, Домчо мстил за все, чего натерпелся от взрослых. Сызмальства он видел одни унижения: и мать, и он работали на чужих людей, чаще всего богачей, владевших шестьюдесятью-восемьюдесятью гектарами, — хуже не придумаешь. Смотреть им в глаза, угадывать и предупреждать их желания — якобы весело и добровольно, — бояться, что, когда дойдет до дела, они не дадут обещанного пуда ржи или пары старых сапог, — все это порождало ненависть и сомнение, не основан ли этот мир на какой-то лжи.

В начале того лета, прежде чем Домчо поселился в садовом шалаше, в его жизни произошло важное событие. Он хлопотал, угадывал и выполнял чужие капризы до тех пор, пока один бывший солдат не разрешил ему время от времени пользоваться своей винтовкой. Впрочем, это была плата за молчание о кое-каких делишках.

Обладание винтовкой совпало по времени со случаями бешенства в округе: в селе подозревали, что одного пса укусила бешеная собака. Поговаривали, что надо бы его убить, но никто не спешил за это браться, а тут как раз подвернулся Домчо, предложивший свои услуги. Пса ему отдали не слишком охотно: мало ли, может, на самом деле никто его и не кусал. Пес — большой, черный, с задранным хвостом и седой шерстью на морде — ластился к нему, радуясь, что его спустили с цепи и,

вместо того чтобы зевать и искать блох, можно пойти на прогулку. Домчо дал ему поесть, а затем привел на берег озерца. Во время весенних паводков река подпитывала это озерцо на полуострове в излучине Иссы через заболоченную канавку — тогда на его теплом мелководье нерестились щуки. Летом озерцо высыхало, и в нем оставалось больше ила, чем воды. Постоянно там обитали только рыбки-колюшки. Вокруг — густая камышовая стена высотой с всадника на коне. У одного из берегов, внутри кольца камышей, росла груша. К ней Домчо и привязал на толстой веревке пса, а сам с винтовкой уселся чуть поодаль. Из патронов он вытащил пули и на их место вставил деревянные, выструганные специально на этот случай. Пес вилял ему хвостом и весело лаял. Момент настал: он мог выстрелить или нет. Он упирал приклад в плечо и все еще медлил, наслаждаясь самой возможностью. Ведь в том-то и суть, что пес ни о чем не догадывается, а он, Домчо, стоит перед выбором, решает. И еще в том, что от одного движения его пальца пес наверняка превратится во что-нибудь новое — не такое, как прежде. Но во что? Упадет он или будет дергаться? Так или иначе, под грушей и вокруг всё тотчас изменится. С убийством пуль никакое другое не сравнится: тишина, покой, точно и не было человека. И без гнева, без усилий он скажет: пора.

Камыш шумел, красный влажный язык свешивался из открытой пасти. Пасть с клацаньем захлопнулась: пес поймал муху. Домчо целился в блестящую шерсть.

Пора. На какую-то долю секунды пес содрогнулся, словно от изумления. И тут же бросился вперед, заливаясь хриплым лаем и натягивая веревку. Рассердившись на эту враждебность, Домчо выпустил вторую пулю. Пес упал, встал и вдруг понял. С ошетилившейся шерстью он отступал перед зловещим видением. Он получал новые пули изредка — так, чтобы умер не слишком быстро, и с каждой пулей все менялось, вплоть до момента, когда пес волочил зад, скулил и конвульсивно дергал лапами, лежа на боку.

В саду у костра Домчо вспоминал то мгновение и предавался богословским размышлениям. Если он так превосходит пса, что решает его судьбу по своему усмотрению, то не так ли и Бог поступает с человеком? На Бога он затаил обиду. Прежде всего — за Его глухоту к самым искренним мольбам о помощи. Когда однажды перед Рождеством в доме не было даже хлеба, а мать плакала, стоя на коленях перед святой иконой и читая молитву, Домчо потребовал чуда. Он залез на чердак, встал на колени, перекрестился и своими словами сказал: «Не может

быть, чтобы Ты не видел, как терзается моя мать. Сделай чудо, а я отдам Тебе всего себя, и убей меня хоть сейчас — позволь только чуда дожждаться». Спрыгнув с лестницы, он, уверенный в результате, спокойно уселся на лавку и стал ждать. Но Бог проявил полное безразличие, и они пошли спать голодными.

Кроме того, Бог, держащий в руке молнию — оружие лучше винтовки, — явно благоволит лицемерам. В воскресенье они надевают праздничные костюмы, женщины зашнуровывают зеленые бархатные корсеты и завязывают под подбородком извлеченные из сундуков переливающиеся платочки. Они поют хором, возводят очи горе и складывают руки. Но стоит им только вернуться домой! У них есть всё, но хоть ты подыхай у них на пороге — не дадут, а сами будут жрать бандуки^[8] со шкварками и сметаной. Бить они умеют, затащив в свирон, чтоб не было слышно. Один другого ненавидит и очерняет перед людьми. Злые и глупые, раз в неделю они притворяются хорошими. А взамен? Самым богатым в селе Бог сделал человека, который спит со своей дочерью. Он подглядывал за ними: в щели ее голое колено, сопение старика и ее любовные стоны.

Ксендз учит, что надо быть смиренным. Но ведь каждый зверь преследует и убивает другого зверя, каждый человек угнетает другого человека. Когда Домчо был еще маленьким, все над ним измывались. Только когда он подрос и поздоровел достаточно, чтобы выбивать зубы и разбивать в кровь носы, его начали уважать. Бог следит, чтобы сильным было хорошо, а слабым плохо.

Вот бы полететь на небо да схватить Его за бороду! Люди уже придумали летающие машины и наверняка еще лучше изобретут. Однако пока что Домчо путался в хитросплетениях. Например, кого черти утаскивают в ад? Может, Бог только притворяется, что Его ничего не волнует, хитро отворачивает голову, как кот, который отпускает мышку, а затем на нее набрасывается? Если бы не страх перед адом, можно было бы жить совсем по-другому — ставить на своем, а кто против, так из винтовки в него.

Обхватив руками колени и снисходительно слушая лепет Томаша, он искал выход из этого запутанного лабиринта. И однажды его осенила новая идея. А что если ксендзы плетут байки, и Бог вовсе не занимается миром? Что если на самом деле Он всего не видит? Может, у Него нет на это ни малейшей охоты? Ад, конечно, где-то есть, но это уже решается между людьми и чертями — те, как прозрачная колдунья Лауме^[9],

принимающая то одно, то другое обличье, охотятся на простофиль, готовых с ними спутаться. Может, Бога даже вовсе нет, и на небесах никто не живет? Но как в этом убедиться?

Домчо, как уже было сказано, отличался умом, придававшим большое значение эксперименту. И вот какое умозаключение он постепенно построил. Если человек для собаки — то же, что Бог для человека, то когда собака кусает человека, тот хватается за палку; значит, и Бог, укушенный человеком, тоже разгневается и покарает его. Главное — найти что-нибудь настолько оскорбительное для Бога, чтобы Ему пришлось прибегнуть к Своим молниям. А если ничего не случится, то будет получено доказательство, что тревожиться из-за Него не стоит.

XXVI

Острое сапожное шило. Домчо пробовал острие пальцем, пока нес его в кармане. В это воскресенье солнце встало в тумане, потом туман рассеялся, и в воздухе колыхались сверкающие нити бабьего лета. Недалеко от одного из обрывов над Иссой лежал большой, поросший хрустящим лишайником камень. Верх у него был плоский, словно алтарь. Министры Домчо — в башмаках и чистых рубахах, прямо из костела — сидели на траве напротив этого валуна и попыхивали сигарками, храбрясь друг перед другом. Не исключено, что вокруг них уже собирались невидимые существа, которые вытягивали шеи и облизывались в предвкушении предстоящего зрелища.

Между тем Домчо стоял на берегу реки и задумчиво бросал в воду камушки. Он еще мог пойти на попятную. А что если все это правда? В таком случае тут же ударит молния и убьет его. Он поднял голову. Небо без единого облачка, солнце стоит высоко, полдень. Хоть бы можно было увидеть этот гром среди ясного неба — но нет, тогда он уже не успеет. Волны, разбегавшиеся друг за другом все более широкими кругами, колыхали распростертые листья. Один из них загнулся, и вода заливала его зеленую кожу. Так что же? Страшно стало? Он метнул камень далеко, под тень противоположного берега, сжал в карманах кулаки и нащупал шило.

Домчо подошел к камню. Тогда его подданные начали пятиться. Они быстро отходили все дальше и дальше, и он оглянулся на них с презрением. Затем вынул из кармана скомканный голубой платок, осторожно развернул и разгладил уголки на твердой шероховатой поверхности.

Сразу после костела Томаш хотел подойти к Домчо, но потерял его из виду. Кто-то видел, как он шел в сторону выгона, и Томаш, взяв след, припустил туда. Напрасно он это сделал. Чтобы разозлить Домчо, довольно было и того, что он все время за ним таскается, но хуже было, что он явился в момент наивысшего накала, когда вертикальная морщинка между бровями выражала решимость и бесстрашие. Почему Домчо должен заботиться о чем-то, кроме предстоящего деяния? А может, наоборот, надо свести счеты именно сейчас — например, признаться, что симпатия была мнимой, и на самом деле он лишь терпел общество барчука? Домчо рявкнул на Томаша, который ничего не понял, хотя уже уловил свою неуместность, какой-то отвратительный комизм, читавшийся на обращенных к нему лицах мальчишек. По приказу своего предводителя министры бросились на Томаша, повалили его и уселись сверху. Он вырывался, но их смердящие табаком лапы прижимали его к земле. Он был в состоянии лишь поднять подбородок. Ему велели лежать тихо.

Каменный стол доходил Домчо чуть выше пояса. На середине платка белела круглая облатка — тело Бога. Приняв святое Причастие и шагая со скрещенными на груди руками, он нес ее на языке, а затем ловко выплюнул в платок. Сейчас все станет ясно. Он взял шило и направил его вниз, к Богу. Медленно опускал, опять поднимал.

Ударил.

И держал острие в этой ране, оглядываясь по сторонам, жаждая наказания. Но ничего не произошло. Стайка маленьких птичек, поблескивая хлопающими крылышками, летела с ржаного жнивья. Ни единого облачка. Он наклонился и смотрел, не вытечет ли из проколотой шилом облатки капля крови. Ничего. Тогда он начал наносить удар за ударом, разрывая белый кружок в клочья.

Томаш, которого как раз выпустили, бросился бежать с рыданиями, сдавливавшими горло. Он бежал, и ему казалось, что он убегает от всего мирового зла, что ничего худшего случиться не могло. Это был не только ужас перед смертным грехом. Внезапно он осознал свою ненужность, всю фальшь тех мгновений, когда он думал, что Домчо — друг. Ни один из них ему не друг. Он убегал навсегда. Дома он трясся и цеплялся за руку бабки Дильбиновой — теперь уже он нуждался в помощи, а она выпрашивала, что стряслось, но не добилаь ничего, кроме спазматических всхлипываний. Вечером он кричал, что боится, чтоб не гасили лампу. Бредил он и сквозь сон, и бабка несколько раз вставала и с тревогой клала ладонь ему на лоб.

Ксендза Монкевича, которому он исповедался, не дожидаясь следующего воскресенья и еле сумев выдать из себя рассказ о чудовищном деянии, так взбудоражило святотатство в его приходе, что он вертелся и подскакивал в исповедальне. Он пытался тянуть Томаша за язык, чтобы поскорее вырвать зло с корнем. Однако тот не выдал виновника, хоть ксендз и объяснял ему, что в таких случаях это даже входит в обязанности христианина. Как-то у него язык не поворачивался произнести это имя. Он получил отпущение грехов, и это его немного успокоило.

Шалаша в саду он избегал, хотя это было лучшее время для сбора фруктов, и пользовался разными уловками, когда Антонина совала ему в руки корзинку. Вечно он тогда куда-нибудь исчезал. Если между деревьями мелькали холщевые портки Домчо, он прятался, а при случайной встрече опускал глаза и делал вид, что не замечает.

В сущности, весь обряд на берегу Иссы кончился тогда ничем. Мальчишки, разочаровавшись (если бы ударил гром или, по крайней мере, показалась кровь — тогда другое дело) и не будучи в состоянии постичь научный смысл открытия, сочли самым уместным начать резаться в дурака. Домчо — стоит обратить внимание на эту деталь — сгреб крошки облатки и съел. Прокалывание прокалыванием, но рассыпать их по ветру или топтать как-то неудобно. Он свесил ноги с обрыва, стучал каблуком по глине и курил свою люльку из ружейной гильзы. Его томила какая-то пустота. Ведь даже подраться с отцом, даже палку об него обломать или выстрелить в него — все лучше, чем когда биться не с кем. Его охватила тоска сиротства, двойного сиротства. Так значит, никого, никого нельзя ни о чем попросить. Один, совсем один.

По поверхности Иссы тянулась легкая дорожка. Водяной уж переправлялся с одного берега на другой, вертикально неся выставленную из воды голову, а за ней наискосок расходились складки волн. Домчо прикидывал расстояние, а рука его чувствовала, что бросок будет метким. Но водяной уж священен, и кто убьет его, накликает на себя беду.

Перевод Никиты Кузнецова

или просто забавлялся, стуча по зеленой поверхности, в которую вмерзли недосыгаемые насекомые и листья водорослей. Снег был уже усталый, в полдень с крыши капало, и капли пробивали вдоль дома линию из дырочек. Вечером светло-розовый свет на белых бугорках сгущался, становясь желтым и карминовым. Следы людей и зверей темнели собравшейся в них влагой.

Томаш увлеченно рисовал, а толчком к этому послужили немецкие иллюстрированные журналы, привезенные бабкой Дильбиновой. В них он разглядывал пушки, танки и аэроплан «Таубе», который ему чрезвычайно понравился. Аэроплан два раза появлялся над Гиньем, но высоко — люди собирались и показывали пальцами в небо, откуда доносился гул. Теперь Томаш убедился, как он выглядит на самом деле. На его рисунках солдаты бежали в атаку (движение ног передать нетрудно — нужно согнуть их палочки там, где колени), падали, из стволов вырывались пучки прямых линий и летели пули — ряды прерывистых черточек. А над всем этим парил «Таубе».

Прежде чем перейти к случаю, имеющему некоторое отношение к тем сценам, которые Томаш придумывал на бумаге, надо рассказать о расположении комнат во флигеле. Зимой жили только в той его части, окна которой выходили в сад, то есть внутрь угла, образуемого старой усадьбой и пристройкой. Сначала ткацкая (там работал Пакенас), затем кладовка для шерсти и семян, дальше комната бабки Дильбиновой, а за ней та, в которой спал Томаш. Потом логово бабушки Миси и уже в самом углу — дедушка.

В то утро Томаш проснулся рано — ему было холодно. Он вертелся и ежился, но ничего не помогало: на него дул морозный воздух. Отвернувшись от окна, он натянул на себя одеяло и стал разглядывать солнечные блики на стене. У стены на большом куске полотна рассыпали муку, чтоб подсыхала. Лениво водя по ней глазами, он вдруг заинтересовался: что-то в ней блестело, словно кристаллики льда или соли. Томаш вскочил и, присев, потрогал: осколки стекла. Тогда он удивленно оглянулся на окно. В стекле была дыра размером с два кулака, а вокруг звездообразно расходились трещины. Он тут же побежал к бабушке Мисе, крича, что ночью кто-то бросил из сада камень.

Однако это был не камень. Искали долго. Наконец, покопавшись под кроватью Томаша, дед вытащил из самого угла черный предмет и велел его не трогать. Послали в село за кем-нибудь служившим в армии. Черный предмет (Томаш потом мог

рассматривать его сколько душе угодно) был похож на большое яйцо и очень тяжел. Посередине его опоясывало как бы зубчатое кольцо. В саду под окном обнаружили следы сапог и взрыватель. Кто-то вспомнил еще, что ночью собаки лаяли с особым остервенением.

Граната не взорвалась, хотя могла, и тогда, наверное, схоронили бы Томаша под дубами, недалеко от Магдалены. Мир продолжал бы жить, вернулись бы, как обычно, из заморских странствий ласточки, аисты и скворцы, а осы и шершни все так же выедали бы изнутри сладкие груши. Зачем понадобилось, чтобы она не взорвалась, не нам здесь судить. Она ударилась о стену, отскочила и катилась к кровати Томаша, а внутри нее зрело решение на самой границе «да» и «нет».

Дедушка Сурконт беспокоился. В ответ на все рассказы о нападениях на усадьбы, чему было немало примеров совсем близко, на востоке, он благодушно покашливал и обращал эти страхи в шутку. Даже когда по лесам бродили толпы русских «пленников», промышлявших разбоем, он не принял никаких мер предосторожности. Кто из окрестных жителей мог бы на него напасть? Разве его не знали здесь с детства, и разве он причинил кому-нибудь зло? Ну, если только невольно... Что до ненависти между поляками и литовцами, то поляков он убеждал, что литовцы имеют право на свое государство, а они, говорящие по-польски, — тоже, как и он, «gente Lithuani»^[10]. Однако гранату кто-то бросил. Кто и в кого? Посчитали окна: одно — деда, два — бабушки Миси, два — в комнате Томаша. Если бы это сделал человек, хорошо знающий дом, он бы, наверное, не метил в ребенка. Значит, либо это кто-то издалека, либо он ориентировался лишь приблизительно и ошибся.

Бабушку Мисю ничуть не взволновало, что ее могли до такой степени не любить. Она излила на деда обычную порцию язвительных замечаний о его литвомании и крестьянофильстве, и чем ему теперь за это отплатили. Казалось, она не слишком печется о своей безопасности. Впрочем, предпринять какие-либо предохранительные меры было трудно: деревянные ставни закрывались снаружи, и только для ставней бабушки Дильбиновой отыскивали теперь висячий замок, потому что она в самом деле боялась. После этого чудесного спасения она баловала Томаша как никогда и извлекала из глубин сундука, вмещавшего непостижимые сокровища, продолговатую коробочку с настоящими красками и кисточкой. Первым его рисунком был снегирь, потому что снегири (а они все время клевали зернышки в кустах перед

домом) — это много красного, к которому добавляется голубое, смешанное с каплей серого и черного. Снегирь и пестрый дятел с красной головой, стучащий высоко над землей и стряхивающий с деревьев белый смерзшийся снег, — самые большие сюрпризы зимы.

Случай с гранатой выходил за рамки первопроходческих и военных фантазий Томаша. Крадущаяся сила, ночная тьма — это было совсем не то, что его солдаты и пираты. Следы на снегу заставляли его представлять высокие сапоги, стянутые ремнем куртки, перешептывание. В нем зарождалась подозрительность, и он пугался, когда встречал кого-нибудь из тех крестьянских парней, от которых веяло чем-то угрожающим, приобретенным в армии. Правда, еще летом, подходя к Иссе, он ступал осторожно, как индеец, — ведь они сидели там в зарослях. Раздавались смех и свист. Они стреляли из винтовки, и пули скакали по поверхности воды, как плоские камушки. Уважением в селе они не пользовались и отгораживались от других. Акулонис грозил им кулаком и называл бандюгами, потому что они пугали рыбу, а однажды даже глушили ее гранатами, чем вызвали всеобщее осуждение: так рыбачить слишком легко, негоже.

Собственно говоря, меру безопасности предприняли только одну: в ткацкую поставили кровать, и туда переселился из свирна^[11] Пакенас, что было не слишком надежной защитой. Он слыл ужасным трусом — возможно, эта слава закрепилась за ним со времен крика, который он поднял, когда добрался до живых людей после бегства от духа скердзя. Впрочем, к таким подозрениям склоняет внешний вид человека — в данном случае его выпученные глаза,двигающиеся как у рака. У Пакенаса, кроме суковатой палки, был старый револьвер, но патронов к нему не было.

XXIII

Юзеф Черный сосредоточенно взбирался по дороге в село. Он вяз в каше снега, смешанного с конским навозом, а в колеях, продавленных полозьями саней, журчали ручейки. Юзеф расстегнул куртку из серого домотканого сукна. Перед крестом он снял шапку и прищурил глаза от блеска: белый склон, а на его вершине, на краю парка, — белая стена барского амбара. Внизу, над Леском, в заливчике Иссы, с весенним карканьем кружили вороны.

Юзеф не свернул в аллею и, пройдя место, где она начиналась, двинулся вдоль сада к куметыне^[12]. Раньше во всех избах по обе

стороны дороги жили кумети — работавшие в поместье батраки. Теперь они занимали только несколько изб — в остальных ютилась всякая беднота, ходившая на заработки то туда, то сюда. Юзеф вежливо отвечал на приветствия, но слишком торопился, чтобы останавливаться. За куметыней, у креста с голубцом^[13], он повернул направо, к деревеньке Погиры и темной линии леса.

Погиры — деревня длинная, ее главная улица тянется больше версты, а есть еще и другая, поперечная. Довольно зажиточная деревня — здесь не встретишь крыш, крытых соломой, или курных изб. Сады здесь немногим хуже, чем в Гинье. Местные жители держат также много пчел, которые собирают темный мед с гречихи, клевера и лесных лугов. Возле третьей избы, за выкрашенным в зеленый цвет домом американца Балуодиса Юзеф остановился и заглянул за острые доски забора. Старый мужик в коричневом шерстяном кафтане (овцы в Погирах в основном коричневые и черные) тесал во дворе бревно. Юзеф толкнул ворота и после рукопожатия заметил, что елка знатная. Старик ответил, что ничего — пригодится, а то вон свирон подпереть надо. Видимо, елка попала сюда благодаря Бальтазару, но это уже было не Юзефово дело.

Молодой Вацконис вылез откуда-то заспанный. Вычесывая пальцами соломку и перья из волос, он оказывал Юзефу несколько смущенные знаки почтения, но в то же время наблюдал за ним неуверенным взглядом. Одет он был в темно-синие галифе и военную гимнастерку. Его широкое лицо помрачнело, когда Юзеф объявил, что пришел по делу.

Поставив цинковую кружку и утерев тылом ладони усы, Юзеф молча всматривался в него. Наконец облокотился на стол и сказал:

— А вот, я знаю.

Тот — в углу, на краю лавки — заморгал веками, но тут же сонно опустил их и пожал плечами.

— Нечего тут знать.

— Может, нечего, а может, и есть чего. Я к тебе пришел, потому что ты дурень. Кто тебя читать научил? Али не помнишь?

— Вы.

— Ай-ай, а может, затем научил, чтоб ты в людей гранаты бросал?

Вацконис поднял веки. Теперь его лицо было взрослым и серьезным.

— А если и я, то что? Не в людей, а в панов.

Юзеф положил на стол табакерку из карельской березы и скрутил сигарку. Вставил ее в мундштук, закурил, затянулся.

— Ты, может, видел, чтоб я за панов был?

— Не видел, но вижу.

— Отец тебе не скажет, так я скажу. Ты слушай тех, кто умнее, а не таких же, как ты. У вас головы пустые.

Вацконис сложил руки на груди, желваки у него заходили.

— Паны нашу кровь пили, и нам их не надо. Убьешь одного, второго — удерут в свою Польшу. А земля наша.

Юзеф издевательски покачал головой.

— Панов нам в Литве не надо, земля наша. От кого ты это слышал? От меня. А теперь учить меня вздумал? Хочешь жечь и убивать, как русаки?

— Царя у них нет.

— Нет, так будет. Ты — литовец, а литовцы — не бандиты. Землю у панов мы и так отберем.

— Кто там у них отберет...

— Литва отберет. А все славяне — что поляки, что русские — одна дрянь. Я в Швеции работал — по-ихнему нам жить.

Вацконис нахмурил брови и слушал, глядя в окно.

— Каждый поляк — наш враг.

— Сурконты — спокон веку литовцы.

Вацконис засмеялся:

— Какой же он литовец, ежели пан?

Юзеф опять покачал головой.

— Ай-ай, хорош, нечего сказать. Благодарю Бога, что граната не взорвалась. А кого бы она убила, тебе говорили?

— Не говорили.

— Малого Томаша. Под его кроватью нашли.

— Дильбинюка?

— Ага.

Они помолчали. Не отрывая губ от кружки, Вацконис процедил:

— Все знают, где его отец. Яблоко от яблони...

— Дурак. А на похороны пришел бы?

— А чего мне ходить?

Губа Юзефа поднялась, обнажив зубы. Он покраснел.

— Ты, Вацконис, теперь смотри. Кто тебя подговорил и кто с тобой ночью был, я тоже знаю. И твоих «Железных волков»^[14] не боюсь. Вы только с бабами да с детьми воевать умеете.

Вацконис вскочил.

— Не ваше дело, подговорил или не подговорил!

Юзеф откинулся назад на своем табурете и посмотрел на него снизу вверх.

— Ты что? Видать, из поляков, раз такой гонористый, — сказал он презрительно.

XXIV

Лед на Иссе трогался с грохотом пушечных выстрелов. Потом по реке шли льдины и несли доски, солому, вязанки хвороста, мертвых кур, а по всему этому мелкими шажками расхаживали вороны. В это же время во дворе оценилась собака Мурза, но долго сохранять в тайне свое логово ей не удалось — щенки пищали. Томаш прижимал к лицу эти теплые комочки и заглядывал им в глаза, подернутые голубой дымкой. Рыжеватая Мурза с замызганной пятнистой мордочкой — не то волк, не то лиса — тяжело дышала, свесив язык, и благосклонно разрешала брать своих детенышей.

Пакенас положил щенков в корзинку, а Мурзу запер в дровяном сарае с одним, самым крупным и резвым, которого ей оставили. Томаш побежал за Пакенасом и догнал его у крутояра над рекой — такие обрывы сверкали желтой глиной,

изрешеченной гнездами ласточек-береговушек. Лед уже сошел, в выпуклом омуте кружились вихри водоворотов.

Пакенас размахнулся и бросил песика. Всплеск, тишина; течение разорвало и погнало вниз круги, пока его голова не вынырнула немного дальше. Он перебирал лапками, опять исчез и в конце концов появился на повороте. Теперь Пакенас брал из корзинки по два щенка — одного бросал, другого прижимал к груди. Последний погрузился в воду лишь на секунду; он отчаянно боролся, но его вынесло на середину, и Томаш проводил его взглядом.

Из тепла, из окружения вещей, которых они еще не различали, — в ледяную воду. Они даже не знали, что такая вода где-то есть. Томаш возвращался в раздумье. В его любопытство закралась тень из сна о Магдалене. Он открыл дверь дровяного сарая и погладил Мурзу, которая тревожно поскуливала и сразу же вырвалась, принимаясь.

Первые погожие дни. На дровоколье копошились куры, а старый Гжегожуня уселся на свою лавку и что-то стругал. Ножиком, таким стертым от постоянного употребления, что лезвие сужалось почти как шило, он перерезал прутик одним махом — не то что Томаш, которому даже этим самым ножиком приходилось подрезать с двух сторон, прежде чем прутик ломался.

К дедушке Сурконту пришла Малиновская — арендовать сад. Необычная просьба, но она сказала, что хочет попробовать: сыну Домчо уже четырнадцать, и вместе они управятся. Дед пообещал, и она выгадала от того, что пришла раньше: через несколько дней с грохотом подкатила бричка Хаима, который приехал предложить в арендаторы своих родичей. В пользу Хаима говорили профессиональные гарантии и обычай — ведь арендуют всегда евреи. Но слово надо держать, и дело кончилось обычным вырыванием волос, криками и воздетыми к небу кулаками.

Малиновская — вдова, самая бедная во всем Гинье, — не сеяла и не жала: у нее была только изба рядом с паромом, без земли. Она была низкой и коренастой, а край платка возвышался над ее веснушчатым лбом как крыша, — чуть ли не больше ее самой. Ее появление предвещало новую дружбу Томаша.

Спустя несколько месяцев, забежав в ту часть сада, что за рядом ульев (ульи стояли возле самой тропинки, и пчелы часто нападали), он увидел шалаш. Великолепный шалаш — не такой, какие строят табунщики, чтобы ночевать в лугах. Стоя

посередине, не приходилось наклонять голову, а покрытие было из целых снопов соломы, прижатых жердями. Соединение на остром конце этой перевернутой буквы V укрепляли гвозди. У входа горел костер, а возле него сидел мальчик и пек на палочке зеленые яблоки. Он показал Томашу шалаш со всех сторон и изнутри.

Доминик Малиновский, веснушчатый, как мать, но высокий и с копной рыжих волос, сразу же стал кумиром Томаша, который испытывал неловкость, обращаясь к нему на «ты». Какое-то неприятное чувство тяготило его из-за этой привилегии по отношению к почти взрослому парню. Домчо допустил его к курению трубочки из ружейной гильзы, в которой была просверлена дырка, а в нее вставлен мундштук. Прежде Томаш никогда не курил, но теперь чмокал, хоть в горле у него и першило, стараясь поддерживать тление свернутого листа домашнего табака. Любой ценой — и с тех пор уже постоянно — он силился завоевать расположение холодных серых глаз.

Раньше, если он исчезал, Антонина отвечала на расспросы: «Томаш опять к Акулонисам побёг». Теперь она говорила: «Томаш в шалаше». Неодолимая прелесть дымка, вьющегося среди деревьев, а внутри — запаха подгнивших яблок, соломы. И часов, проведенных у костра. Домчо умел плевать на несколько сажень, выпускать дым через нос (тогда в воздух поднимались две струйки), ставить ловушки на птиц и куниц (в парке куница гонялась за белкой вокруг ствола липы, но с установкой этих ловушек надо было подождать до следующей зимы) и, кроме того, учил Томаша ругаться. А от него требовал рассказов о том, что пишут в книгах. Сам он читать не умел, и всё-то ему было интересно. Поначалу Томаш стеснялся: знания, приобретенные с помощью букв, казались ему неполноценными (это было так же стыдно, как, например, солидарность с бабкой Дильбиновой), но Домчо настаивал и никогда не довольствовался простыми ответами. Вечно: «а зачем?», «а как?», «а если так, то почему?». И Томашу не всегда удавалось объяснить — раньше он об этом не задумывался.

Тяга и покорность. Быть может, тяга к резкости и язвительности? Домчо выступал в роли первосвященника правды — его ирония и невысказанная насмешка взрывали поверхность знакомых Томашу явлений, и он чувствовал, что как раз под этой поверхностью бурлит нечто настоящее. И даже не длинные слизняки, которых они собирали и прижигали углями, чтобы те корчились, и не оводы, которым втыкали в брюшко соломинку и отпускали летать, и даже не крыса,

которую Домчо запустил в туннель между раскаленными углями. Еще дальше и глубже. В каждом походе в садовый шалаш крылось обещание.

В конечном счете догадки были верны, ибо Домчо раскрывал перед Томашем только часть своей натуры и относился к нему сдержанно. Ему не нужно было демонстрировать перед ним свое превосходство, и он снисходительно принимал почести. Кроме того, он щадил Томаша — потому что наивное доверие разоружает, а может, потому, что разумнее было не портить отношения с усадьбой. В том, как он говорил «хм-м-м» и обхватывал руками колени, когда Томаш упрямо хотел докопаться до недозволенных, не предназначенных для него сведений, заключалось очень многое — то самое, к чему малец тянулся. Если эта сдержанность в конце концов была внезапно нарушена, то произошло это по вине чертей с берегов Иссы или же по глупости самого Томаша, который пренебрег правилом, что нельзя всегда и везде таскаться за теми, кого обожаешь. Впрочем, откуда у него взяться такту, если он жил своими фантазиями и еще никто по-настоящему не утер ему нос.

Малиновская заглядывала в шалаш редко. В полдень она приносила сыну обед, но тоже не всегда, и Домчо варил себе щи, перочинным ножиком отрезал краюхи от большого черного каравай и уплетал их с ломтиками сала. А еще — печеные яблоки и груши. Груши в золе вкусны необычайно, а картошка, которую они тоже пекли, покрывается хрустящей корочкой, и узнать, готова ли она, можно, вбив в нее острый прут. Антонина приходила в шалаш, чтобы вытащить оттуда за шкуру Томаша, или с корзинами за «инспекцией» — так называется часть фруктов, отдаваемая арендатором на текущие нужды усадьбы, — и тогда нужно было помогать ей. Домчо она называла игриво и грубо: «ряпужук»^[15], то есть родич всех жаб.

XXV

Здесь следует отметить, что Домчо был тайным королем. Правил он при помощи скрытого террора, и строго следил, чтобы все обходилось без шума. На королевскую позицию ему удалось выдвинуться благодаря силе и призванию повелевать. Получившие по зубам его крепким кулаком соблюдали запрет и никогда не осмеливались жаловаться родителям. Двор, окружавший его на сельском выгоне, как и полагается, состоял из ближайших приспешников — министров — и обычных лизоблюдов для мелких поручений — например, чтобы гонять

коров, если те травили поле. К самым серьезным опытам Домчо допускал только приспешников.

Его критический ум, ничего не принимавший на веру и всегда требовавший научных доказательств, обращал пристальное внимание на всё, что бегают, летает, скачет и ползает. Он отрывал лапки и крылья и таким образом пытался постичь тайну живых механизмов. Не обходил он вниманием и людей, и тогда его министры держали объект — тринадцатилетнюю Верчу — за ноги. Достижения техники его тоже интриговали: он долго смотрел, как строят мельницу, пока не смастерил ее точную модель — даже с собственными усовершенствованиями, — которую установил там, где в Иссу впадал ручеек.

Навязывая свою волю ровесникам, Домчо мстил за всё, чего натерпелся от взрослых. Сызмальства он видел одни унижения: и мать, и он работали на чужих людей, чаще всего богачей, владевших шестьюдесятью-восемьюдесятью гектарами, — хуже не придумаешь. Смотреть им в глаза, угадывать и предупреждать их желания — якобы весело и добровольно, — бояться, что, когда дойдет до дела, они не дадут обещанного пуда ржи или пары старых сапог, — всё это порождало ненависть и сомнение, не основан ли этот мир на какой-то лжи.

В начале того лета, прежде чем Домчо поселился в садовом шалаше, в его жизни произошло важное событие. Он хлопотал, угадывал и выполнял чужие капризы до тех пор, пока один бывший солдат не разрешил ему время от времени пользоваться своей винтовкой. Впрочем, это была плата за молчание о кое-каких делишках.

Обладание винтовкой совпало по времени со случаями бешенства в округе: в селе подозревали, что одного пса укусила бешеная собака. Поговаривали, что надо бы его убить, но никто не спешил за это браться, а тут как раз подвернулся Домчо, предложивший свои услуги. Пса ему отдали не слишком охотно: мало ли, может, на самом деле никто его и не кусал. Пес — большой, черный, с задранной хвостом и седой шерстью на морде — ластился к нему, радуясь, что его спустили с цепи и, вместо того чтобы зевать и искать блох, можно пойти на прогулку. Домчо дал ему поест, а затем привел на берег озерца. Во время весенних паводков река подпитывала это озерцо на полуострове в излучине Иссы через заболоченную канавку — тогда на его теплом мелководье нерестились щуки. Летом озерцо высыхало, и в нем оставалось больше ила, чем воды. Постоянно там обитали только рыбки-колюшки. Вокруг —

густая камышовая стена высотой с всадника на коне. У одного из берегов, внутри кольца камышей, росла груша. К ней Домчо и привязал на толстой веревке пса, а сам с винтовкой уселся чуть поодаль. Из патронов он вытащил пули и на их место вставил деревянные, выструганные специально на этот случай. Пес вилял ему хвостом и весело лаял. Момент настал: он мог выстрелить или нет. Он упирал приклад в плечо и всё еще медлил, наслаждаясь самой возможностью. В том-то и суть, что пес ни о чем не догадывается, а он, Домчо, стоит перед выбором, решает. И еще в том, что от одного движения его пальца пес наверняка превратится во что-нибудь новое — не такое, как прежде. Но во что? Упадет он или будет дергаться? Так или иначе, под грушей и вокруг всё тотчас изменится. С убийством пуль никакое другое не сравнится: тишина, покой, точно и не было человека. И без гнева, без усилий он скажет: пора.

Камыш шумел, красный влажный язык свешивался из открытой пасти. Пасть с клацаньем захлопнулась: пес поймал муху. Домчо целился в блестящую шерсть.

Пора. На какую-то долю секунды пес содрогнулся, словно от изумления. И тут же бросился вперед, заливаясь хриплым лаем и натягивая веревку. Рассердившись на эту враждебность, Домчо выпустил вторую пулю. Пес упал, встал и вдруг понял. С ошетинившейся шерстью он отступал перед зловещим видением. Он получал новые пули изредка — так, чтобы умер не слишком быстро, и с каждой пулей всё менялось, вплоть до момента, когда пес волочил зад, скулил и конвульсивно дергал лапами, лежа на боку.

В саду у костра Домчо воспоминал то мгновение и предавался богословским размышлениям. Если он так превосходит пса, что решает его судьбу по своему усмотрению, то не так ли и Бог поступает с человеком? На Бога он затаил обиду. Прежде всего — за Его глухоту к самым искренним мольбам о помощи. Когда однажды перед Рождеством в доме не было даже хлеба, а мать плакала, стоя на коленях перед святой иконой и читая молитву, Домчо потребовал чуда. Он залез на чердак, встал на колени, перекрестился и своими словами сказал: «Не может быть, чтобы Ты не видел, как терзается моя мать. Сделай чудо, а я отдам Тебе всего себя, и убей меня хоть сейчас — позволь только чуда дождаться». Спрыгнув с лестницы, он, уверенный в результате, спокойно уселся на лавку и стал ждать. Но Бог проявил полное безразличие, и они пошли спать голодными.

Кроме того, Бог, держащий в руке молнию — оружие лучше винтовки, — явно благоволит лицемерам. В воскресенье они

надевают праздничные костюмы, женщины зашнуровывают зеленые бархатные корсеты и завязывают под подбородком извлеченные из сундуков переливающиеся платочки. Они поют хором, возводят очи горе и складывают руки. Но стоит им только вернуться домой! У них есть всё, но хоть ты подыхай у них на пороге — не дадут, а сами будут жрать бандуки^[16] со шкварками и сметаной. Бить они умеют, затащив в свирон, чтоб не было слышно. Один другого ненавидит и очерняет перед людьми. Злые и глупые, раз в неделю они притворяются хорошими. А взамен? Самым богатым в селе Бог сделал человека, который спит со своей дочерью. Он подглядывал за ними: в щели ее голое колено, сопение старика и ее любовные стоны.

Ксендз учит, что надо быть смиренным. Но ведь каждый зверь преследует и убивает другого зверя, каждый человек угнетает другого человека. Когда Домчо был еще маленьким, все над ним измывались. Только когда он подрос и поздоровел достаточно, чтобы выбивать зубы и разбивать в кровь носы, его начали уважать. Бог следит, чтобы сильным было хорошо, а слабым плохо.

Вот бы полететь на небо да схватить Его за бороду! Люди уже придумали летающие машины и наверняка еще лучше изобретут. Однако пока что Домчо путался в хитросплетениях. Например, кого черти утаскивают в ад? Может, Бог только притворяется, что Его ничего не волнует, хитро отворачивает голову, как кот, который отпускает мышку, а затем на нее набрасывается? Если бы не страх перед адом, можно было бы жить совсем по-другому — ставить на своем, а кто против, так из винтовки в него.

Обхватив руками колени и снисходительно слушая лепет Томаша, он искал выход из этого запутанного лабиринта. И однажды его осенила новая идея. А что, если ксендзы плетут байки и Бог вовсе не занимается миром? Что, если на самом деле Он всего не видит? Может, у Него нет на это ни малейшей охоты? Ад, конечно, где-то есть, но это уже решается между людьми и чертями — те, как прозрачная колдунья Лауме^[17], принимающая то одно, то другое обличье, охотятся на простофиль, готовых с ними спутаться. Может, Бога даже вовсе нет, и на небесах никто не живет? Но как в этом убедиться?

Домчо, как уже было сказано, отличался умом, придававшим большое значение эксперименту. И вот какое умозаключение он постепенно построил. Если человек для собаки — то же, что Бог для человека, то когда собака кусает человека, тот хватается

за палку; значит, и Бог, укушенный человеком, тоже разгневается и покарает его. Главное — найти что-нибудь настолько оскорбительное для Бога, чтобы Ему пришлось прибегнуть к Своим молниям. А если ничего не случится, то будет получено доказательство, что тревожиться из-за Него не стоит.

XXVI

Острое сапожное шило. Домчо пробовал острие пальцем, пока нес его в кармане. В это воскресенье солнце встало в тумане, потом туман рассеялся, и в воздухе колыхались сверкающие нити бабьего лета. Недалеко от одного из обрывов над Иссой лежал большой, поросший хрустящим лишайником камень. Верх у него был плоский, словно алтарь. Министры Домчо — в башмаках и чистых рубахах, прямо из костела, — сидели на траве напротив этого валуна и попыхивали сигарками, храбрясь друг перед другом. Не исключено, что вокруг них уже собирались невидимые существа, которые вытягивали шеи и облизывались в предвкушении предстоящего зрелища.

Между тем Домчо стоял на берегу реки и задумчиво бросал в воду камушки. Он еще мог пойти на попятную. А что, если все это правда? В таком случае тут же ударит молния и убьет его. Он поднял голову. Небо без единого облачка, солнце стоит высоко, полдень. Хоть бы можно было увидеть этот гром среди ясного неба — но нет, тогда он уже не успеет. Волны, разбегавшиеся друг за другом всё более широкими кругами, колыхали распростертые листья. Один из них загнулся, и вода заливала его зеленую кожу. Так что же? Страшно стало? Он метнул камень далеко, под тень противоположного берега, сжал в карманах кулаки и нащупал шило.

Домчо подошел к камню. Тогда его подданные начали пятиться. Они быстро отходили всё дальше и дальше, и он оглянулся на них с презрением. Затем вынул из кармана скомканный голубой платок, осторожно развернул и разгладил уголки на твердой шероховатой поверхности.

Сразу после костела Томаш хотел подойти к Домчо, но потерял его из виду. Кто-то видел, как он шел в сторону выгона, и Томаш, взяв след, припустил туда. Напрасно он это сделал. Чтобы разозлить Домчо, довольно было и того, что он всё время за ним таскается, но хуже было, что он явился в момент наивысшего накала, когда вертикальная морщинка между бровей выражала решимость и бесстрашие. Почему Домчо должен заботиться о чем-то, кроме предстоящего деяния? А может, наоборот, надо свести счеты именно сейчас —

например признаться, что симпатия была мнимой и на самом деле он лишь терпел общество барчука? Домчо рывкнул на Томаша, который ничего не понял, хотя уже уловил свою неуместность, какой-то отвратительный комизм, читавшийся на обращенных к нему лицах мальчишек. По приказу своего предводителя министры бросились на Томаша, повалили его и уселись сверху. Он вырывался, но их смердящие табаком лапы прижимали его к земле. Он был в состоянии лишь поднять подбородок. Ему велели лежать тихо.

Каменный стол доходил Домчо чуть выше пояса. На середине платка белела круглая облатка — тело Бога. Приняв святое Причастие и шагая со скрещенными на груди руками, он нес ее на языке, а затем ловко выплюнул в платок. Сейчас всё станет ясно. Он взял шило и направил вниз, к Богу. Медленно опускал, опять поднимал.

Ударил.

И держал острие в этой ране, оглядываясь по сторонам, жаждая наказания. Но ничего не произошло. Стайка маленьких птичек, поблескивая хлопающими крылышками, летела с ржаного жнивья. Ни единого облачка. Он наклонился и смотрел, не вытечет ли из проколотой шилом облатки капля крови. Ничего. Тогда он начал наносить удар за ударом, разрывая белый кружок в клочья.

Томаш, которого как раз выпустили, бросился бежать с рыданиями, сдавливавшими горло. Он бежал, и ему казалось, что он убегает от всего мирового зла, что ничего худшего случиться не могло. Это был не только ужас перед смертным грехом. Внезапно он осознал свою ненужность, всю фальшь тех мгновений, когда он думал, что Домчо — друг. Ни один из них ему не друг. Он убегал навсегда. Дома он трясся и цеплялся за руку бабки Дильбиновой — теперь уже он нуждался в помощи, а она выпрашивала, что стряслось, но не добилаь ничего, кроме спазматических всхлипываний. Вечером он кричал, что боится, чтоб не гасили лампу. Бредил он и сквозь сон, и бабка несколько раз вставала и с тревогой клала ладонь ему на лоб.

Ксендза Монкевича, которому он исповедался, не дожидаясь следующего воскресенья и еле сумев выдать из себя рассказ о чудовищном деянии, так взбудоражило святотатство в его приходе, что он вертелся и подскакивал в исповедальне. Он пытался тянуть Томаша за язык, чтобы поскорее вырвать зло с корнем. Однако тот не выдал виновника, хоть ксендз и объяснял ему, что в таких случаях это даже входит в обязанности христианина. Как-то у него язык не

поворачивался произнести это имя. Он получил отпущение грехов, и это его немного успокоило.

Шалаша в саду он избегал, хотя это было лучшее время для сбора фруктов, и пользовался разными уловками, когда Антонина совала ему в руки корзинку. Вечно он тогда куда-нибудь исчезал. Если между деревьями мелькали холщевые портки Домчо, он прятался, а при случайной встрече опускал глаза и делал вид, что не замечает.

В сущности, весь обряд на берегу Иссы кончился тогда ничем. Мальчишки, разочаровавшись (если бы ударил гром или, по крайней мере, показалась кровь — тогда другое дело) и не будучи в состоянии постичь научный смысл открытия, сочли самым уместным начать резаться в дурака. Домчо — стоит обратить внимание на эту деталь — сгреб крошки облатки и съел. Прокалывание прокалыванием, но рассыпать их по ветру или топтать как-то неудобно. Он свесил ноги с обрыва, стучал каблуком по глине и курил свою люльку из ружейной гильзы. Его томила какая-то пустота. Ведь даже подраться с отцом, даже палку об него обломать или выстрелить в него — всё лучше, чем когда биться не с кем. Его охватила тоска сиротства, двойного сиротства. Так значит, никого, никого нельзя ни о чем попросить. Один, совсем один.

По поверхности Иссы тянулась легкая дорожка. Водяной уж переправлялся с одного берега на другой, вертикально неся выставленную из воды голову, а за ней наискосок расходились складки волн. Домчо прикидывал расстояние, а рука его чувствовала, что бросок будет метким. Но водяной уж священен, и кто убьет его, накликает на себя беду.

Перевод Никиты Кузнецова

-
1. В этом году роман Ч. Милоша «Долина Иссы» в переводе Н. Кузнецова выйдет в петербургском Издательстве Ивана Лимбаха.
 2. «Родом литвины» (лат.). Здесь и далее — прим. пер.
 3. Свирон (род. свирна) — в северо-восточной Польше, Литве и западной Белоруссии амбар.
 4. Скердзь (от лит. skerdzius) — старший пастух.
 5. Куметыня — батрацкие избы (от искаженного лит. kaimietis, сельчанин).
 6. Голубец — двускатная крыша.

7. «Железный волк» (*лит. Gelezinis Vilkas*), или Ассоциация железных волков — крайне правая литовская организация фашистского толка, созданная в 1927 году. В 1930 г. была запрещена, но продолжала действовать в подполье. В 1934 г. члены движения предприняли неудачную попытку государственного переворота.
8. От *лит. guruze* и *польск. gorucha* — жаба.
9. Бандуки (от *лит. bandutes* — булочки, клецки) — вероятно, автор имеет в виду блюдо, некогда распространенное в окрестностях Кедайня: квадратные булочки, пекущиеся из пшеничной муки и тертого вареного картофеля. Как правило, подаются со сметаной. Последняя жительница Шетеня (деревни близ усадьбы, где родился Милош), умевшая готовить бандуки, умерла в июне 2011 года.
10. Лауме (Лаума) — в балтийской мифологии первоначально богиня родов и земли, позже — злой дух, ведьма.
11. В этом году роман Ч.Милоша «Долина Иссы» в переводе Н.Кузнецова выйдет в петербургском Издательстве Ивана Лимбаха.
12. «Родом литвины» (лат.). Здесь и далее — прим. пер.
13. Свирон (род. свирна) — в северо-восточной Польше, Литве и западной Белоруссии амбар.
14. Куметыня — батрацкие избы (от искаженного *лит. kaimietis*, сельчанин).
15. Голубец — двускатная крыша.
16. «Железный волк» (*лит. Gelezinis Vilkas*), или Ассоциация железных волков — крайне правая литовская организация фашистского толка, созданная в 1927 году. В 1930 г. была запрещена, но продолжала действовать в подполье. В 1934 г. члены движения предприняли неудачную попытку государственного переворота.
17. От *лит. guruze* и *польск. gorucha* — жаба.
18. Бандуки (от *лит. bandukes* — булочки, клецки) — мучное блюдо, некогда распространенное в окрестностях Кедайня: печеные шарики из пшеничной и картофельной муки, которые, как правило, подают со сметаной. Последняя жительница Шетеня (деревни близ усадьбы, где родился Милош), умевшая готовить бандуки, умерла весной этого года.
19. Лауме (Лаума) — в балтийской мифологии первоначально богиня родов и земли, позже — злой дух, ведьма.

ХРОНИКА (НЕКОТОРЫХ) ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ

• «В пятницу к Польше перешло полугодичное председательство в Совете ЕС (...) Одним из приоритетов польского председательства будет экономический рост. В числе приоритетов остается и дальнейшее расширение Евросоюза. Возможно, в период нашего председательства будет подписан договор о вступлении в ЕС Хорватии (...) В сентябре в Варшаве должен пройти саммит «Восточного партнерства» (...) Председатель Европейского совета Херман ван Ромпей обещал лично возглавить саммит». («Жечпосполита», 2–3 июля)

• «Главное здесь — Европа, а не Польша. Если кому-то в вашей стране кажется, что в этой роли правительство сможет защищать польские национальные интересы, пусть он сразу забудет об этом. Попробуйте-ка не согласовать вашу внутреннюю политику с европейской перспективой. Учитывая приближающиеся выборы, это будет трудно. Но нужно сделать всё возможное», — Дьердь Шопфлин, евродепутат от венгерской партии «Фидес». («Жечпосполита», 2–3 июля)

• «Один день войны обошелся бы Европе дороже, чем все институты ЕС (...) Именно Европа распространила на все континенты две мировые войны. Ни один другой континент не придумал ничего столь же разорительного для миллионов людей, как коммунизм и нацизм. Жители таких стран, как Корея или Куба, по сей день страдают от практического воплощения европейских идей. Евросоюз освободил Европу от ужаса великих войн и голода — ведь голод всегда сопровождал войну. Поэтому первой основой европейского бюджета стало сельское хозяйство. Мир и продовольственная безопасность стали целью номер один такого сенсационного проекта, как ЕС (...) За десять лет Евросоюз увеличил число стран-членов с 15 до 27, а его бюджет вырос на 37%. За это же время бюджет экономной Голландии вырос на 72%, а в среднем по Европе рост составил 62%», — Януш Левандовский, комиссар ЕС. («Политика», 6–12 июля)

• «Яцек Сариуш-Вольский, евродепутат от «Гражданской платформы» (ГП), председатель польской группы в Европейской народной партии, считает, что Евросоюзу угрожают пять факторов: задолженность зоны евро, попытка

свертывания Шенгенской зоны, отказ от действий в Ливии, отступление из Восточной Европы и отмирание финансовой солидарности. «Кризис налицо (...)», — подчеркивает он». («Жечпосполита», 1 авг.)

- «Комиссар ЕС по вопросам гуманитарной помощи Кристилина Георгиева благодарит Польшу за активное участие в борьбе с голодом в Сомали. «Благодаря польскому председательству вопрос Африканского Рога обсуждался на министерском уровне; кроме того, было проведено чрезвычайное заседание рабочей группы по вопросам гуманитарной помощи», — заявила комиссар. Вчера Всемирная продовольственная программа начала операцию по сбросу 10 тонн продовольствия». («Жечпосполита», 28 июля)

- «Со вчерашнего дня резиденция посла Польши в Ливии перенесена в Бенгази, где заседает повстанческий Национальный ливийский совет. Посольство в Триполи закрыто». («Жечпосполита», 8 июля)

- Согласно опросу «Евробарометра», проведенному в 2010 г., 62% поляков удовлетворены членством Польши в ЕС, и лишь 8% считают его нежелательным. В то же время из мартовского опроса ЦИОМа следует, что только 30% респондентов поддерживают введение в Польше евро, а 60% предпочитают остаться со злотым, отказавшись от идеи смены валюты. («Политика», 20-26 июля)

- На 82-м году жизни скончался Ян Кулаковский, главный участник переговоров о вступлении Польши в ЕС. В 1944 г. он участвовал в Варшавском восстании, а с 1946 г. жил в эмиграции в Бельгии; с 1974 г. был генеральным секретарем Всемирной конференции труда, с 1990-го — послом Польши в Брюсселе при Европейском сообществе, а затем министром и уполномоченным по ведению переговоров Польши с Евросоюзом. В 2004 г. стал депутатом Европарламента. Награжден высшей польской наградой — орденом Белого Орла. («Газета wyborcza», 27 июня)

- «Польша возглавляет Евросоюз, но прохладно относится к Хартии основных прав ЕС, одной из самых важных для европейских граждан декларации (...) Осенью 2007 г., как раз перед выборами, премьер-министр Ярослав Качинский отказался полностью признать Хартию и подписал т.н. британский протокол, ограничивающий ее действие в Польше (...) Гражданин, наделенный автономией, правом на достоинство и суверенитет — все это для Качинского, «Права и справедливости» (ПиС) и значительной части польских правых

было и остается отравой (...) Ясное дело, нация — это всё, а единица — ноль (...) Не признавая полностью Хартию, «Гражданская платформа» продолжает эту традиционную враждебность к правам единиц». (Марек Бейлин, «Газета wyborcza», 2-3 июля)

• «Тадеуш Палечный, социолог из краковского Ягеллонского университета: «Около 80% цыганских детей исключены из жизни общества, так как не знают польского языка. Школы не организуют для них ни дополнительных уроков польского, ни компенсирующих занятий. Чтобы отделаться от проблемы, цыганских детей отправляют в психологическую консультацию, а оттуда посылают в спецшколу» (...) По данным министерства внутренних дел и администрации, в 2010 г. в школы ходили 2829 цыганских детей, в т.ч. 520 (около 20%) — в спецшколы (...) Для сравнения: тот же показатель по польским школьникам составляет 2,8%. «Такой подход обрекает всё новые поколения цыганских детей на необразованность и небытие. Это наследие тоталитарной системы (...)», — возмущается председатель Польского общества цыган Роман Квятковский». («Газета wyborcza», 14 июля)

• «Кто такой польский предприниматель? Потенциальный преступник, которого еще не взяли с поличным. На всякий случай свободные от работы часы он должен проводить в СИЗО — в счет будущего наказания, к которому наверняка когда-нибудь будет приговорен», — Владислав Фрасынюк, с 1981 г. член правления «Солидарности», после введения военного положения входил в состав подпольного руководства профсоюза, бывший политзаключенный, был депутатом и председателем «Унии свободы», владелец транспортного предприятия. («Ньюсуик-Польша», 17 июля)

• «Человеческий капитал» — вторая по масштабности операционная программа с бюджетом более 11 млрд. евро. В проектах, осуществляемых в ее рамках и финансируемых Европейским социальным фондом (ЕСФ), приняли участие 3 млн. человек. Из них 100 тысяч создали собственные предприятия. По данным Еврокомиссии, Польша использует средства ЕСФ наиболее эффективно в ЕС. До сих пор было подписано 26,6 тыс. договоров о частичном финансировании на сумму более 29 млрд. злотых. («Жечпосполита», 27 июля)

• Вот уже два года уровень нищеты в Польше существенно не меняется. Прожиточный минимум, установленный Институтом труда и социальных вопросов, составляет 466 злотых на одного человека и 1257 злотых на семью из четырех человек. Вчера Главное статистическое управление (ГСУ)

сообщило, что этого уровня не удалось достичь 5,7% граждан, т.е. 2 млн. человек. Похожая ситуация была в 2009 году. Прожиточный минимум — это уровень доходов, ниже которого государство выплачивает социальные пособия. Этот порог составляет 477 злотых, а для семьи из четырех человек — 1404 злотых. В прошлом году лица, получавшие субсидии, составили 7,3%. ГСУ подсчитало, какая часть общества зарабатывает меньше половины средней зарплаты, т.е. 665 злотых. По этим подсчетам нищими можно признать 17,1% общества. Это лишь немногим меньше, чем в 2009 году. («Дзенник — Газета правна» и «Газета wyborcza», 27 июля)

- «Быстрее всего дорожает продовольствие — почти на 10% за 12 месяцев, — а также горючее и одежда». («Тыгодник повсехный», 26 июня)

- «В июне объем розничных продаж вырос по сравнению с тем же месяцем 2010 г. на 10,9%. В мае он был выше на 13,8%, — сообщило вчера ГСУ (...) В июне без работы оставалось почти 1,8 млн. человек, т.е. 11,8% профессионально активного населения. Это на 0,4% меньше, чем в мае (...) Более половины безработных — молодежь до 34 лет. Большинство из них живет в деревне (...) Снижающееся потребление приводит к замедлению динамики роста промышленного производства. В июне он составил 2%, в то время как за месяц до этого — 7,7%». («Дзенник — Газета правна», 27 июля)

- «Каждая вторая вещь, купленная женщинами на распродажах, оказывается ненужной (...) Согласно последнему опросу Группы IQS, 90% женщин, делавших покупки в торговых центрах (в стране их 380), заявили, что придут на летние распродажи (...) В период распродаж рекордсменки способны провести в торговых центрах 4-6 часов и потратить 10 тыс. злотых (...) Однако в среднем женщины проводят там 2-3 часа, тратя до 500 злотых». («Дзенник — Газета правна», 26 июля)

- «Мы рассматриваем свой статус сквозь призму имущества. У нас есть потребность производить этим впечатление на других (...) При такой модели самореализации денег всегда будет мало. Эта модель отличает нас от большинства развитых стран и приближает к странам бедным (...) Впервые за многие годы растет экономическое расслоение. Два года назад доходы самых зажиточных 10% общества превышали доходы самых бедных 10% в 3,96 раза. Сегодня эта разница составляет 4,19», — проф. Януш Чапинский. («Политика», 13-19 июля)

- «Полтора десятка тысяч поляков ежегодно пишут доносы в налоговые управления (...) На тех, кто мусорит в лесах, не убирает за своими собаками, нарушает правила дорожного движения, издевается над членами семьи, поляки доносят лишь изредка». («Газета wyborcza», 12 июля)

- «В последнем «Докладе о мировых инвестициях» Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) мы заняли шестое место среди самых инвестиционно привлекательных стран мира в 2011–2013 гг. (...) В 2010 г. в рейтинге ЮНКТАД Польша занимала 12-е место». («Жечпосполита», 25 июля)

- «По мнению проф. Мечислава Кабая из Института труда и социальных вопросов, покупательная способность среднестатистического поляка достигает 53% средней по ЕС. Однако наша зарплата составляет всего 38% европейской (...) Уровень минимального начисленного вознаграждения составляет в настоящий момент 1386 злотых, т.е. около 40% средней зарплаты (3597,84 зл.). С января минимальная зарплата будет повышена до 1500 злотых». («Политика», 15–21 июля)

- «В прошлом году число лиц, работавших исключительно или преимущественно в своих земледельческих хозяйствах, было на 249 тысяч больше, чем два года назад. По предварительным данным всеобщей сельскохозяйственной переписи, проведенной ГСУ в 2010 г., это число составило более 2,2 млн. человек. К нему следует прибавить 80 тыс. наемных рабочих, занятых в индивидуальных хозяйствах, а также в акционерных обществах, кооперативах и предприятиях. Всего в сельском хозяйстве работают 2,3 млн. человек из более чем 14,1 миллиона, занятых в народном хозяйстве Польши. Они составляют более 16% всех занятых». («Дзенник — Газета правна», 5 июля)

- «Гигантский скачок продажи новых грузовиков — вот неожиданный результат введения электронной системы дорожных оплат. До конца июня в Польше было зарегистрировано более 9,2 тыс. транспортных средств с максимально допустимым весом более 3,5 тонн, спущенных прямо с конвейера. Это в два раза больше, чем в тот же период прошлого года (...) В электронной системе цена за проезд километра дороги зависит, в частности, от экологических характеристик транспортного средства. Чем меньше автомобиль расходует топлива, производит шума и выбрасывает выхлопных газов, тем дешевле обходится ему дорога (...) Более чем десятилетняя фура, отвечающая

требованиям ЕС, проедет километр пути за 53 гроша. Современной машине, соответствующей стандарту Евро 5, тот же километр обойдется всего в 27 грошей. При годовом пробеге около 100 тыс. км разница в стоимости оплат может составить 25 тыс. злотых. И это только за одну машину». (Лукаш Бонк, «Дзенник — Газета правна», 27 июля)

- По данным ГСУ, в первом полугодии экономика развивалась стабильно. Рост ВВП в этом полугодии должен составить 4%. Второе полугодие может выглядеть хуже. В будущем году ВВП может расти в темпе около 3%. («Жечпосполита», 27 июля)

- По данным ГСУ, в мае инфляция выросла с 4,5 до 5%, а затем в июне еще более резко упала — до 4,2%. («Газета wyborcza», 21 июля)

- «Совет монетарной политики уже четвертый раз в этом году повысил процентные ставки — на 0,25% (главная процентная ставка составляет сегодня 4,5%)». («Тыгодник повсехный», 19 июня)

- «Наш ВВП в пересчете на душу населения составляет лишь 62% от среднего по ЕС. (...) В самом богатом Люксембурге ВВП на душу населения составляет 268% от среднего по ЕС. В самой бедной Болгарии этот показатель равен 41%. Согласно последним исследованиям Евростата, Польша со своими 62% — пятая с конца (...) За пять лет — с момента вступления в Евросоюз в 2004 м до 2009 г. — ВВП на душу населения вырос с 51 до 61% от среднего по ЕС, т.е. на 2% в год. В 2010 г. этот рост составил 1%». («Дзенник — Газета правна», 22-23 июня)

- Почти 383 млн. злотых получают в этом году неправительственные организации после передачи им 1% налогов. За восемь лет передачи физическими лицами 1% НДФЛ в пользу указанной налогоплательщиком неправительственной организации это — рекордная сумма. В этом году она на 27 млн. злотых превысила прошлогоднюю. Помочь неправительственным организациям решили 10 млн. из почти 25 млн. налогоплательщиков. («Жечпосполита», 27 июля)

- «В первом квартале 2011 г. задолженность сектора государственных финансов выросла на 4% — сообщило в пятницу министерство финансов. К концу марта государственный долг составил 778,1 млрд. злотых. Он состоит, в частности, из задолженности правительства (722,5 млрд. зл.), органов местного самоуправления (53,98 млн. зл.) и социального страхования (1,7 млрд. зл.) (...) В целом в течение

первого квартала задолженность государства выросла на 30 млрд. злотых». («Жечпосполита», 11-12 июня)

• «Кабинет Туска ведет грабительскую политику, уже второй год подряд урезая Фонд демографического резерва, — бьют тревогу предприниматели (...) В этом году министерство труда и социальной политики собирается потратить на выплаты текущих пенсий 4 млрд. злотых из ФДР. Год назад эта сумма составила 7,5 млрд. злотых (...) Министерство заявляет прямо: без этого в сентябре не будет денег на выплату социальных пособий (...) Предприниматели Польши, Всепольская экономическая палата и Всепольское соглашение профсоюзов (...) обвиняют правительство в том, что оно скрывает истинную причину расходования средств ФДР: плохое состояние государственных финансов и нежелание проводить структурные реформы, ограничивающие необоснованные расходы». («Дзенник — Газета правна», 18 июля)

• «Фонд ФГР (Форум гражданского развития) предъявил иск президенту Брониславу Коморовскому за непредоставление экспертиз, на основании которых он подписал закон об изменениях в открытых пенсионных фондах. «Закон о доступе к публичной информации — основа современного государства», — считает проф. Лешек Бальцерович. По его мнению, государственные власти его серьезно нарушают (...) Именно поэтому его фонд подал в пятницу иск в воеводский административный суд». («Жечпосполита», 16-17 июля)

• «Предоставить экспертизы просил президента, в частности, бывший председатель Конституционного суда Ежи Стемпень. Этого требовали также бывший премьер-министр Влодзимеж Цимошевич и бывшие министры Януш Штейнхоф и Тадеуш Сирийчик». («Газета wyborcza», 16-17 июля)

• «Мы хотим создать прецедент, благодаря которому в Польше больше не будут нарушаться важные права граждан. А именно таким правом мы считаем право на информацию. Мы не просим об одолжении. Власть обязана отчитываться перед обществом о своих решениях и представлять аргументы, которыми она руководствовалась, принимая их», — проф. Лешек Бальцерович, председатель фонда ФГР. («Дзенник — Газета правна», 18 июля)

• «Экспертиза, заказанная органами власти, является публичной информацией, — постановил Варшавский воеводский административный суд (...) Теперь канцелярия президента может подать кассационную жалобу в Высший административный суд или подчиниться приговору. Если она

не захочет показать экспертизы, ей придется это обосновать (...) Но и это оценит суд». («Газета wyborcza», 4 авг.)

• «В столкновении со следственными органами гражданин беззащитен. Последней надеждой остается для него суд. Поэтому судья должен быть уверен, что он — власть», — Барбара Пивник, в 2001–2002 гг. министр юстиции, в 2002 г. вернулась к судебной практике в уголовном отделе Варшавского окружного суда. («Пшеглэнд», 31 июля)

• «Согласно опросу TNS ЦИМО, проведенному 7–11 июля, 61% респондентов негативно оценивает деятельность правительства (...) Положительно отзываются о ней 29% опрошенных. Более 51% считают, что Дональд Туск плохо выполняет обязанности премьер-министра. Деятельность президента Бронислава Коморовского положительно оценивают 48% респондентов (...). 36% считают, что он плохо справляется с обязанностями главы государства». («Жечпосполита», 21 июля)

• «Почти половина поляков утверждает, что в повседневной жизни им больше всего досаждают недоступность хорошего медицинского обслуживания (...) 31,5% из нас считают серьезной проблемой дорожную инфраструктуру. Почти столько же — административные предписания, в которых бюрократия преобладает над ясностью и простотой (...) На четвертом месте оказалась проблема слишком высоких налогов. Таковы результаты опроса (...) проведенного Институтом изучения общественного мнения «Номо Номини». (...) На вопрос, должно ли государство отказаться от некоторых сфер деятельности, передав решение проблем самим гражданам, половина анкетированных отвечает категорическим несогласием — даже если бы это сопровождалось снижением налогов». («Дзенник — Газета правна», 4 июля)

• «Парламентские выборы пройдут 9 ноября, — объявил вчера президент Бронислав Коморовский. С момента публикации этого решения начнется официальная предвыборная кампания». («Газета wyborcza», 5 авг.)

• «В Польше 37,8 млн. жителей. 30,6 миллиона зарегистрированы в составляемых гминами списках избирателей». («Жечпосполита», 21 июля)

• Согласно опросу TNS ЦИМО, проведенному 4–8 августа, ГП поддерживает 31% поляков, ПиС — 22%, Союз демократических левых сил (СДЛС) — 6%, крестьянскую партию ПСЛ — 5%.

Избирательный барьер составляет 5%. («Газета wyborcza», 11 авг.)

• «На предстоящих выборах «Гражданской платформы» могут повредить как «высокие», как и вполне приземленные вопросы. Ситуация этой партии весьма трудна (...) Среда Пис ставит под сомнение легитимность демократически избранных органов и отказывает им в моральном праве осуществлять власть, что находит поддержку у сторонников Пис (...) Политический консенсус уничтожен почти во всех сферах — идет ли речь о государственном устройстве, где нет согласия относительно нынешней и будущей конституции, или о международной политике. Кто бы ни выиграл выборы 2011 г., он, независимо от своих благих намерений, по общему мнению будет представлять лишь часть общества. Тогда вторая часть будет чувствовать себя «ущемленной» (...) Любой вероятный исход выборов связан с опасностью: победители наверняка будут принадлежать к одной из двух сил, которые в настоящий момент друг друга не выносят. Из-за этого фундаментальные преобразования, реформы будут трудноосуществимы», — проф. Мирослава Грабовская, директор ЦИОМа. («Жечпосполита», 20 июля)

• «В Польше растет нетерпимость к инакомыслящим. Вспомним хотя бы эмоции, вызванные смоленской катастрофой; нападение на человека, который хотел купить в киоске «Газету wyborчу»; убийство сотрудника депутатского офиса в Лодзи, вызванное ненавистью к политикам», — доктор медицинских наук Ежи Побоха, председатель Польского общества судебной психиатрии. («Газета wyborcza», 27 июля)

• «В четверг на сайте газеты «Жечпосполита» появилась запись, прямо призывающая к покушению на премьер-министра Дональда Туска и министра иностранных дел Радослава Сикорского (...) Матеуш Тоболевский, заместитель директора социальных серверов «Жечпосполитой» (...) сразу же извинился. «Эта недопустимая запись появилась по моему недосмотру. Прошу меня простить», — написал он». («Жечпосполита», 30-31 июля)

• «Все мы — заложники двух паразитов. Один называется «Право и справедливость», другой — «Гражданская платформа» (...) Лично я мог бы наплевать на «Платформу», но я этого не сделаю, памятуя, что есть Качинский. Из-за ощущения опасности люди, чей голос мог бы быть услышан, интеллектуалы и предприниматели, молчат, а сохраняя молчание, позволяют калечить государство. (...) Обе партии в

одинаковой степени разлагают общество», — Владислав Фрасынюк. («Ньюсуик-Польша», 17 июля)

• ««Говоря: либо мы, либо возвращение «Права и справедливости», «Гражданская платформа» занимается эмоциональным шантажом. Чтобы прогнать это чудище, я создаю беспартийный сенатский список», — сказал президент Вроцлава Рафал Дуткевич». («Польска», 8-10 июля)

• «Президент Вроцлава Рафал Дуткевич вместе с другими самоуправленцами создал общественное движение «Граждане — в Сенат», которое намерено выдвигать кандидатов в верхнюю палату, не основывая политической партии». («Жечпосполита», 6 июля)

• «Конституционный суд поддержал изменения в процедуре выборов политиков (...) Всех сенаторов мы изберем в одномандатных избирательных округах (...) Мандат легче будет получить независимым, местным кандидатам, имеющим непосредственный контакт с избирателями. В перспективе это может привести к перетасовкам на политической арене». («Дзенник — Газета правна», 21 июля)

• «Столкнулись две модели национальной идентичности: идентичность гражданская, для которой возможно множество нарративов о том, что значит быть поляком, и идентичность этническая, располагающая только одним национальным нарративом. Первая модель плюралистична, открыта, для нее важнее лояльность по отношению к государству, чем происхождение и религия. Вторая — замкнута, основана на культурной общности и узах крови. Гражданская идентичность развивалась главным образом в Западной Европе, опираясь на города и мещан; этническая идентичность — в Центральной и Восточной Европе, где основой было крестьянство и/или шляхта», — Павел Кубицкий, социолог и антрополог культуры, Институт европейстики краковского Ягеллонского университета. («Газета wyborcza», 4-5 июня)

• «Когда часть епископов резко выражала свое мнение, в «Гражданской платформе» не нашлось людей, готовых вступить с ними в дискуссию. Я ощутил это и в Сенате. Депутаты Пис ежеминутно вносили проекты законов о святых и блаженных. Я не раз повторял: Сенат — не пристройка епископата. И всё же эти законы принимались — отчасти голосами сенаторов от ГП. Несмотря на мои протесты», — маршал Сената Богдан Борусевич. («Газета wyborcza», 30 июня)

• «“Никто не обязан падать на колени перед священниками. Мы — не Святые Дары. И нечего нами пугать”, — так архиепископ Лешек Славой Глудзь прокомментировал (...) высказывание премьера Дональда Туска о том (...), что правительство “не будет становиться на колени перед священником”».
(«Жечпосполита», 16 июня)

• «Согласно исследованию лаборатории MillwardBrown SMG/KRC, в 2007 г. радио «Мария» о. Тадеуша Рыдзика слушали в среднем 946 тыс. человек в день, в 2008 г. — 964 тыс. человек, в 2009 г. и 2010 г. — 1,029 млн. человек. Доля слушателей с высшим образованием составила в 2001 г. 8,7%, в 2006 г. — 13,5%, в первом квартале 2011 г. — 22,1%. («Газета wyborcza», 6 июля)

• «В праздник Тела Господня 44-летний художник Павел Хайнцель из Лодзи переоделся в бабочку и стал в воротах в нескольких стах метров от собора. Увидев крестный ход, он присоединился к верующим — точнее, плясал среди них, становился на носочки, приседал, подпрыгивал (...) Через несколько минут он «улетел» (...) Настоятель собора о. Иренеуш Кулеша подал жалобу в прокуратуру. Вчера прокуратура отказалась возбудить следствие. Прокурор не усмотрел в происшествии злонамеренного препятствования религиозному обряду. Он заключил, что поведение художника не было оскорбительно для верующих. (...) Хайнцель уверял, что это (...) художественный хеппенинг, который должен был обратить внимание на проблему “повсеместного присутствия Церкви в публичном пространстве”». («Газета wyborcza», 4 авг.)

• «Сегодня мы живем в светском государстве с конфессиональным обрамлением (...) Решение, придуманное СДЛС, стало политическим стандартом, с которым считаются до сих пор. Но если раньше в уважительном жесте не увидели реальной победы левых, то потом не заметили, что правые лидеры лишили Церковь ее вновь обретенной политической суверенности (...) Премьер Ярослав Качинский демонстративно блокировал (...) полный запрет абортос (...) Мнением епископов он даже не поинтересовался и сходу отклонил проект (...) Премьер Дональд Туск поставил Церкви еще более жесткие условия. Можно свести их к следующему: «Вы ничего не получите. Если вы чего-нибудь потребуете, я не стану вас обижать, не откажу прямо, но никогда этого не дам». Примером такой стратегии был вопрос экстракорпорального оплодотворения. Видя несогласие Церкви, премьер заблокировал работу над проектом, но ясно дал понять, что если она когда-нибудь возобновится, то в духе либеральных, а

не церковных идей (...) Туск — премьер настолько сильный, что не спешит переходить от слов к делу (...) Что всё это значит? Что в политическом смысле Церковь потеряла значение (...) Если опросы покажут, что поляки «за», премьер идею поддержит, если нет — значит, поляков нужно будет убедить и поддержать идею лишь после этого (...) При таких правилах игры Туск раздает карты, Церкви же (...) придется постараться убедить поляков в своей правоте». (Роберт Красовский, «Политика», 6–12 июля)

- «Городская управа Гданьска лишила президента (мэра) города полномочий передавать Церкви недвижимость с 99-процентной скидкой». («Газета wyborcza», 5 июля)

- «В торговых центрах посетителей больше, чем в церквях. В таких воеводствах, как Поморское, Куявско-Поморское или Западно-Поморское, — в два раза. Мы явно перешли к жизни, чей ритм определяют покупки, а не воскресная месса», — проф. Томаш Шлёндак, Торунский университет им. Николая Коперника. («Тыгодник повсехный», 26 июня)

- «В 2009 г. родилось 419 тыс. детей, в 2010 г. — 413 тысяч. По деторождению Польша занимает 209-е место среди 223 стран мира. По прогнозам Евростата, в ближайшие 20 лет население нашей страны сократится на 2 млн. человек. В 2030 г. нас будет 36 миллионов, а в 2060-м — лишь 31 миллион». («Политика», 21–28 июля)

- «“Жизнь в эмиграции выбрали 2,4 млн. поляков. Не менее миллиона из тех, кто уехал после 2004 г., уже не вернутся (...) В Польше они не видят изменений, способных привлечь их обратно. Демографы обращают внимание: ГСУ должно учесть это и пересмотреть информацию о численности населения Польши. Нас не 38,2 млн. (...), а 36,8 млн., а может, даже меньше”, — замечает проф. Кристина Иглицкая из Центра международных отношений». («Дзенник — Газета правна», 22–24 июля)

- «По сравнению со странами старого ЕС, у нас практически нет проблем с иммигрантами. Большинство приезжих — граждане стран бывшего СССР. Они нам культурно ближе, чаще всего имеют тот же цвет кожи и, за исключением эмигрантов с Кавказа, в основном христиане. Никто не знает, сколько их. Звучат цифры от нескольких десятков тысяч до 400 тыс. человек. Некоторые города и местные общины уже сейчас восстают против присутствия чеченцев ввиду их культурного отличия, а ведь на всю страну их не больше полутора десятков тысяч». (Мартин Войцеховский, «Газета wyborcza», 26 июля)

- «Канцлер Ангела Меркель и премьер-министр Дональд Туск подписали в Варшаве декларацию о сотрудничестве, охватывающую почти сто проектов, в т.ч. в области энергетики и инфраструктуры (...) Правительства обеих стран встретились по случаю 20-й годовщины подписания договора о добрососедстве и сотрудничестве». («Жечпосполита», 22-23 июня)
- «Военное командование Франции, Германии и Польши подписало технический договор о создании в 2013 г. Веймарской боевой группы ЕС. Группа может быть отправлена в бой в любой кризисной ситуации. Она будет насчитывать 1700 солдат. Командиром станет поляк, немцы будут отвечать за логистику, а французы — за медицинское обеспечение». («Жечпосполита», 6 июля)
- «В четверг в Афганистане погиб от взрыва мины-ловушки старший рядовой Павел Посвят. Это 28-й поляк, погибший за время операции НАТО». («Газета wyborcza», 29 июля)
- «Министр обороны Богдан Клих и посол США Ли Файнштейн подписали вчера соглашение о размещении в Польше солдат, обслуживающих истребители и транспортные самолеты, периодически прилетающие в Польшу на учения». («Польска», 14 июня)
- «Польша покупает не только ракеты NSM (Naval Strike Missile) норвежской фирмы «Kongsberg Defence & Aerospace» (всего 48), но и командный транспорт, передвижные узлы связи, подвижные радиолокационные станции, ракетный транспорт, транспортные автомобили и ремонтные мастерские. Из них будет создан т.н. Прибрежный ракетный дивизион. Благодаря ему Польша сможет контролировать Балтийское море даже без использования судов». («Газета wyborcza», 25 июля)
- «НАТО не хочет согласиться на то, чтобы российская ПРО защищала прибалтийские государства и часть Польши (...) Тем не менее российская сторона настаивает на секторной трактовке ПРО, которая предполагает ответственность России за защиту прибалтийских государств и части Польши. НАТО не дает согласия на эту идею». («Жечпосполита», 5 июля)
- В 67-ю годовщину Варшавского восстания президент Бронислав Коморовский вручил награды ветеранам восстания. Между тем министр иностранных дел Радослав Сикорский назвал восстание национальной катастрофой, за что подвергся критике Пис. («Газета wyborcza», 1 авг.)

• «Большую часть вины за смоленскую катастрофу несет польская сторона — следует из доклада комиссии Ежи Миллера. Вывод (...) ясен: наши пилоты не хотели приземлиться любой ценой (...) Основные причины катастрофы: 1. Ошибки пилотов. Команда была плохо обучена, не подготовлена к полету, у нее не было прав на его выполнение. Взаимодействие членов команды было недостаточным. 2. Упущения командования польской военной авиации. В 36-м полку неправильно обучали пилотов, много лет подряд нарушали процедуры по обеспечению безопасности. Командование плохо контролировало часть, не замечало даже легко обнаружимых нарушений. 3. Недосмотр российской стороны. Диспетчер из Смоленска был неопытен и не знал аэропорта. Не отреагировал, когда самолет сошел слишком низко. Ошибочно информировал команду о том, что самолет на правильном курсе и в пределах коридора (...) Министр национальной обороны Богдан Клих подал в отставку, а премьер-министр Дональд Туск принял ее».

(«Жечпосполита», 30–31 июля)

• «36-й специальный полк, ответственный за перевозку VIP пассажиров, будет расформирован, а из армии уйдет 13 офицеров, в т.ч. три генерала из секторов, ответственных за обучение и безопасность полетов (...) В отставку подал также вице-министр обороны генерал Чеслав Пёнтас». («Польска», 5–7 авг.)

• «Доклад министра Миллера — это портрет всей Польши, ее небрежности, халатности, наследия коммунизма, когда государство было врагом, а обман государства — национальным спортом. Доклад — это ужасающее обвинение не только 36-му авиационному полку, но и всей системе. Можно с большой долей вероятности утверждать, что в других полках происходит то же, что происходило в этом. Доклад показывает, как можно обходить обязательные процедуры, нарушать закон, обманывать командующих. Показывает полное пренебрежение этими процедурами, законом, стандартами (...) Показывает крайнюю бесцеремонность и полнейший идиотизм. Доклад стал более серьезным обвинением государству и его правительствам, чем можно было ожидать (...) Это обвинение не только государственных структур, но и нашей ментальности, берущей начало в ПНР (...) Этот доклад был болезненным ударом». (Катажина Коленда-Залеская, «Газета wyborcza», 2 авг.)

• Согласно опросу MillwardBrown SMG/KRC, 60% поляков считают, что причиной катастрофы не были действия российской стороны. 26% придерживается противоположного

мнения. 79% опрошенных уверены, что политики используют трагедию в собственных целях, а 69% — что последнее более всего касается «Права и справедливости». 76% респондентов утверждают, что вопрос катастрофы не влияет на их избирательные решения. («Жечпосполита», 1 авг.)

- «Вчера в Президентском дворце Институту национальной памяти (ИНП) было передано 11 томов с документами российского следствия по делу о катынском преступлении. Документы относятся к следствию, которое Главная военная прокуратура вела в 1990–2004 гг. (...) В настоящий момент в ИНП находится 148 из 183 томов следственных актов. Не рассекречены и не переданы польской стороне еще 35 томов». («Польска», 8–10 июля)

- «Специалисты Совета по охране памяти борьбы и мученичества нашли недалеко от украинского села Островка останки более 300 польских женщин и детей, погибших от рук украинцев в 1943 г. (...) Исторические источники свидетельствуют, что в 1943 г. в этом районе погибло более тысячи поляков. В 90-е годы были найдены останки 320 жертв». («Жечпосполита», 9–10 июля)

- «Я не знаю, что значит быть поляком или украинцем. Но знаю, что значит быть человеком (...) Я не чувствовал себя связанным ни с одной национальной группой, видя, как люди убивали друг друга (...) С памятного сентября 1939 г. здесь, на земле, я считаю себя человеком без национальности», — Ежи Новосельский (1923–2011). («Бунт молодых духом», май–июнь)

- «9 июня Сенат принял закон о финансировании из государственного бюджета Православной духовной семинарии (...) До этого Сейм утвердил пять законов о финансировании из госбюджета католических вузов (...) Не удалось убедить достаточного количества депутатов принять постановление, в котором Сейм выразил бы сожаление по поводу проведенной польским государством операции по разрушению православных храмов на Хелмщине и в Подлясье в 1938 г.», — депутат Эугениуш Чиквин. («Пшеглэнд православный», июль)

- «“Народ жертв должен был признать нелегкую правду о том, что он бывал и виновником преступлений”, — написал президент Бронислав Коморовский участникам вчерашней мемориальной церемонии в Едвабне, посвященной 70-й годовщине уничтожения тамошних евреев. Его письмо прочел бывший премьер-министр Тадеуш Мазовецкий (...) Согласно выводам следствия Института национальной памяти, 10 июля 1941 г. в Едвабне группа поляков по наущению немцев сожгла в

овине более 300 своих еврейских соседей». («Жечпосполита», 11 июля)

- «В Едвабне, как всегда на протяжении уже 15 лет, приехал Ицхак «Янек» Левин, родившийся в близлежащей Визне. В момент трагедии ему было 11 лет. По его словам, в едвабненском овине сгорела большая часть друзей его детства. Войну он пережил благодаря помощи польской семьи (...) Он приехал вместе со своими детьми и детьми хозяев, которым он обязан жизнью». («Газета wyborcza», 11 июля)

- «Присутствие католического епископа было признано переломным событием. Епископ Мечислав Цисло не объяснил, почему до сих пор епископы отсутствовали на годовщинах трагедии (...). Пустотой снова зияло место жителей Едвабне (...) По мнению священника Войцеха Леманского из Ясеняца, для жителей Едвабне важнее присутствия епископа Цисло было бы присутствие их местного епископа. «Рядом с ним им было бы легче стоять в этом месте. Эта могила остается и будет оставаться здесь из поколения в поколение. Если не показать им путь к ней, они останутся с болью один на один». (о. Адам Бонецкий, «Тыгодник повшехный», 17 июля)

- «Мы — единственная страна во всем постсоветском блоке, которая решила разобраться с темой антисемитизма и в которой эта тема с небольшими перерывами постоянно обсуждается. Это уже не просто исследования одного смелого автора. Дискуссия носит общенародный характер (...) Ян Т. Гросс стал причиной большого исторического поворота в польском мышлении, и это его писательский успех». (Адам Михник, «Газета wyborcza», 27 июля)

- «26 июля министр иностранных дел в очередной раз написал в генеральную прокуратуру, требуя преследовать по закону высказывания, разжигающие ненависть: «События в Норвегии ясно показали, что разжигающие ненависть высказывания могут привести к невообразимым трагедиям». Министр Радослав Сикорский уже второй раз посылает генеральному прокурору Анджею Серемету цитаты, в частности, из интернет-форумов, с требованием преследовать их авторов по закону (...) По данным прокуратуры, следствия по таким делам в 80% случаев прекращаются или даже не возбуждаются». («Газета wyborcza», 29 июля)

- «У нас несколько десятков тысяч человек, подверженных влиянию расистской или крайне правой националистической идеологии. Брейвиков у нас еще не было, но за последние 20 лет в среднем два человека в год становились жертвами убийств на

расистской, гомофобской или шовинистической почве. Все эти смерти отмечены в «Коричневой книге», составленной Мартином Корнаком. А летальные случаи — лишь небольшая часть агрессии крайних правых», — Рафал Панковский, социолог Центра мониторинга расизма в Восточной Европе. («Политика», 3–9 авг.)

- «Средняя продолжительность жизни ястреба в Польше — три–четыре года, а он мог бы жить в пять раз дольше (...) К сожалению, убивают молодых неопытных птиц, пытающихся охотиться около домов, где они попадают в расставленные ловушки (...) В лесничестве «Слава Силезии» один из лесничих заметил на верхушке сосны клетку. Ее хозяин сажал в нее в качестве приманки голубя. Когда ястреб сел на клетку, на его ногах защелкивался стальной обруч. Человек отрезал ему когти или клюв, выпускал, и искалеченная птица гибла в муках (...) Полиция не могла наказать садиста, потому что он не был пойман с поличным». (Эугениуш Пудлис, «Политика», 27 июля — 8 авг.)

- «Щецинская районная прокуратура прекратила дело об уничтожении гнезд и умерщвлении около двух тысяч городских ласточек во время ремонта моста. А ведь за причинение такого ущерба животному или растительному миру уголовный кодекс предусматривает от 3 до 5 лет лишения свободы». («Политика», 13–19 июля)

- «О том, что жестоко и бесправно уничтожаются гнезда стрижей, я пишу каждый год и собираюсь делать это до тех пор, пока подобные случаи не прекратятся (...) Рабочие утепляют 11-этажные блочные дома. Старательно ликвидируют гнезда стрижей. И не обращают внимания на предписания (...) Замуровывать гнезда — исключительная подлость. Молодые стрижи долго выдерживают без еды. Они не умирают в течение нескольких дней, но могут страдать до семи недель». (Адам Вайрак, Газета выборча», 28 июня)

- «Бездомность домашних животных (в основном собак и кошек) носит массовый характер. То, что происходит на т.н. сельских животноводческих ярмарках и во время доставки животных на убой — варварство. Во многих других странах права животных уже давно урегулированы (...) Польша — одна из первых в Европе по процентному соотношению числа животных, которые содержатся в домах, к числу жителей (...) Это (...) означает также, что многие из животных становятся бездомными, что увеличивается число случаев плохого или жестокого обращения с ними. Скоту не лучше — ведь в большинстве хозяйств его разводят в промышленных целях (...)

а судьба животных никого не интересует (...) Многие промышленные фермы переезжают из стран Западной Европы в Польшу именно потому, что у нас отсутствуют нормы, предписывающие соответствующее обхождение с разводимыми животными. Фермы, разводящие пушных зверей, во многих странах Европы уже запрещены». (Пшемислав Берг, «Политика», 15–26 июля)

- «“Перед отпуском люди очищают квартиры от собак и кошек, как от старой мебели. Телефон с вопросом, можно ли отдать животное, звонит непрерывно”, — говорит Томаш Невчик из варшавского приюта «Под пёсьим ангелом». («Газета выборча», 21 июля)

- «В Интернете началась компания «Не выгоняй собаку на каникулы!». На сайте www.pomagaј.eu можно дать объявление о готовности взять животное. А на сайте www.zwierzolubni.pl помещена карта Варшавы с информацией о людях, предлагающих бесплатно позаботиться о животных». («Жечпосполита», 15 июня)

- «Согласно действующему закону о защите животных, брошенный четвероногий зверек может стоять хозяину двух лет тюрьмы». («Дзенник — Газета выборча», 15 июня)

- «Представители Коалиции по защите животных представили в Сейме 225 тыс. подписей под гражданским законопроектом о животных. [Необходимый минимум — 100 тыс. подписей. — В.К.] Это уже второй такой законопроект, поступивший в Сейм. В настоящее время подкомиссии работают над проектом, подготовленным Парламентской группой друзей животных». («Впрост», 24 июля)

КУЛЬТУРНАЯ ХРОНИКА

1 июля премьера «Короля Роже» в режиссуре Дэвида Паунтни стала инаугурацией польского председательства в Совете Евросоюза. По красному ковру в Большой театр — Национальную оперу входили представители мира культуры и политики. Присутствовали, в частности, президент Бронислав Коморовский, премьер-министр Дональд Туск, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу. Соответствующие событию речи произнесли председатель Европейского парламента Ежи Бузек и председатель Евросовета Херман ван Ромпей.

Неожиданно выступил также директор Национальной оперы Вальдемар Домбровский. Он сообщил собравшимся, что знаменитая певица Ольга Пасечник, которая много лет выступает в партии Роксаны, сломала ногу. Однако решила выступить. Она пела с просцениума, передвигаясь на костылях. А в сценическом действии ее заменила ассистентка британского режиссера.

Публика тепло приняла постановку Паунтни. А пресса — по-разному. «Дэвид Паунтни подошел к польской опере вне интерпретационного балласта, которым мы ее отяготили, обнаружил в ней вневременное содержание», — написал Яцек Мартинский в рецензии, озаглавленной «С “Королем Роже” идем в Европу» («Жечпосполита»).

А Яцек Гаврилюк («Жестокая кровавая оргия», «Газета wyborcza») отмечает: «На сцене перед нами варварская оргия. Всё и вся купается в крови — животных приносят в жертву. Но не только. Погибает также Роксана. В этом финале что-то устрашающее, но до конца не известно, что же все-таки здесь на самом деле случилось». «Сицилийскую драму», как иногда называют оперу Кароля Шимановского, Дэвид Паунтни подготовил в 2009 г. для оперного фестиваля в Брегенце, оперу показывали также в Барселоне, в «Гран Театре дел Лисеу». В Варшаве спектакль можно было посмотреть трижды: 1, 3 и 5 июля.

3 июля в Национальной филармонии в Варшаве состоялась мировая предпреьера «Концерта Янкеля», созданного Яном А.П. Качмарек. День был выбран не случайно. Как раз 3 июля 1811 г. начинается действие «Пана Тадеуша». В этот день

молодой Тадеуш Соплица, герой поэмы Адама Мицкевича, возвращается в родной дом, о чем повествуется в I главе национальной эпопеи. А в XII главе мы находим описание обручения Тадеуша и Зоси, во время которого еврей Янкель по просьбе молодой нареченной играет на цимбалах.

Композиция Яна А.П. Качмарека, выдающегося кинематографического композитора, была заказана ему Павлом Поторочиным, директором Института Адама Мицкевича, по инициативе Збигнева Буяка, легендарного деятеля «Солидарности».

«Нам знаком этот концерт, — написал Буяк, — мы почти слышим феерию звуков и тонов, но одновременно по сей день не знаем, как это было. На фоне сцены из сельской жизни возникает лозунг «Свобода, равенство, братство». Наполеоновские армии крушат монархии».

Композицию Качмарека для цимбал и оркестра исполнили оркестр «Sinfonia Varsovia» и три молодые солистки ансамбля цимбалистов «Василинки» Белорусской государственной академии музыки. За дирижерским пультом стоял французский дирижер Марк Минковский.

Слушателей, которые ожидали от произведения Качмарека музыкальных цитат и атмосферы Соплицова, оказались несколько удивлены. Удивляться, впрочем, не следовало: в интервью, которое он дал «Жечпосполитой», композитор ясно сказал, что с самого начала отверг идею реконструкции, «т.е. композиции, которая прямо следует за словом Мицкевича. Это было бы слишком иллюстративно — напоминало бы музыку для мультфильма».

Александра Кужак, молодая польская певица-сопрано, которая своими выступлениями в Европе и США привела в восторг критиков и меломанов всего мира, в августе выпустила на фирме «Декка» дебютный альбом «Gioia». Наряду с беспрюигрышными ариями бельканто из опер Винченцо Беллини («Пуритане») и Гаэтано Доницетти («Лючия ди Ламмермур») на диске нашла место также ария из первого акта «Травиаты» Джузеппе Верди и своеобразный реверанс в сторону польской оперной традиции — ария из «Страшного двора» Станислава Монюшко, лучшей польской оперы XIX века.

Седьмой Международный музыкальный фестиваль «Шопен и его Европа», прошедший в Варшаве с 16 августа по 1 сентября, собрал плеяду выдающихся личностей мирового пианизма.

Участвовали, например, Елизавета Лионская, Дина Иоффе, Денис Мацуев, Дмитрий Алексеев, Алексей Любимов, Нельсон Гёрнер и Януш Олейничак. Были также крупные индивидуальности последнего Шопеновского конкурса: Юлиана Авдеева, Евгения Божанова, Павал Вакараци и Даниил Трифионов. Триумфатор конкурса Юлиана Авдеева выступила с сольным концертом на современном инструменте, а на историческом фортепиано сыграла со знаменитым британским «Оркестром века Просвещения», исполнив оба концерта Фредерика Шопена.

2011-й — это год Ференца Листа, Игнация Яна Падеревского и Густава Малера. А поскольку это также год, когда Польша приняла от Венгрии председательство в Евросоюзе, программным стержнем Седьмого фестиваля стали многоаспектные отношения двух великих романтиков — Шопена и на год младшего венгра Ференца Листа, которых объединяла дружба, хотя в творческом плане они находились на разных полюсах тогдашней артистической Европы.

Фестиваль завершил особый концерт, ставший жестом солидарности с Японией. 1 сентября в базилике Святого Креста прозвучало удивительное сочинение Листа «Via Crucis» в исполнении Януша Олейничака и хора «Камерата Силезия», а также два произведения Тору Такэмицу в исполнении Аканэ Сакаи и Якуба Ващенко.

В Познани 5–13 августа прошел первый Международный фестиваль кино и музыки «Трансатлантик». Состоялось 300 кинопоказов, на которых было представлено свыше 170 фильмов, в том числе 40 польских премьер, прошло также 14 концертов. Среди гостей фестиваля — отмеченный «Оскаром» режиссер Збигнев Рыбчинский и выдвигавшийся на эту премию американский актер Джеймс Кромвелл.

Жюри конкурса композиций, написанных для двух короткометражных фильмов, «Transatlantyk Film Music Competition», заседавшее под председательством создателя и директора фестиваля Яна А.П. Качмарека, присудило первую премию в 20 тыс. долларов и звание «Transatlantyk Young Composer 2011» Маттису Кибоому из Голландии, автору музыки для многих телевизионных фильмов.

Жюри конкурса импровизации «Transatlantyk Instant Composition Contest» под председательством композитора Уильяма Голдстайна присудило первую премию в 10 тыс. долларов тридцатилетнему выпускнику Катовицкой музыкальной академии Давиду Рудницкому.

— Мы провели, и это повод для нашей особой гордости, 27 творческих мастерских с участием более двадцати преподавателей. Через мастерские прошло свыше двух тысяч молодых людей. В фестивале приняло участие 150 гостей, связанных с киномузыкой. Было аккредитовано 220 журналистов из Польши и других стран, — подытожил Ян А.П. Качмарек. — В городе царила прекрасная атмосфера. Город хочет проводить этот фестиваль, гордится фестивалем и будет и далее его финансировать.

Качмарек объявил об очередном фестивале «Трансатлантик»: в следующем году и, конечно, в Познани.

Наша знаменитая «Дама с горностаем» Леонардо да Винчи гостит в королевском дворце в Мадриде в составе пользующейся большим успехом экспозиции «Польша. Сокровища и художественные коллекции, или Золотой век Речи Посполитой». В ответ в краковский Национальный музей прибыла выставка «Сокровища испанской короны», включающая экспонаты из коллекции испанского королевского дома. Почетный патронат над выставками приняли президент Польши Бронислав Коморовский и король Испании Хуан Карлос I. Обе выставки отмечают председательство Польши в Совете Евросоюза.

В Польше впервые столь объемно и серьезно представлена история испанского искусства. Среди шедевров, привезенных в Краков, картины крупнейших мастеров мирового искусства — Эль Греко, Гойи, Риберы, Тициана, Веронезе. Представлены также выдающиеся произведения художественного ремесла, серебро, оружие, фарфор, стекло и мебель. Выставка в рамках программы польского председательства в Совете Евросоюза проходит с 13 июля по 9 октября 2011.

В середине июля в Польшу возвратилась «Апельсинщица» Александра Герымского, похищенная из Национального музея в Варшаве во время Второй Мировой войны. В ноябре 2010 г. полотно заявили к продаже на аукционе в Германии. Начальная цена обозначалась в 4,4 тыс. евро. После переговоров с немецкой стороной «Апельсинщица» была передана польской стороне и перевезена в варшавский Национальный музей.

Картину, известную также как «Еврейка с апельсинами», Александр Герымский написал около 1881 года. На ней изображена пожилая женщина на фоне туманной, отдаленной панорамы Варшавы в районе Варшавского университета. У женщины две клеенчатых сумки, в левой на дне лежат апельсины. Вновь обретенная картина требует основательной и

долгосрочной консервации. После этого ее можно будет увидеть на монографической выставке Александра Герымского, запланированной музеем на 2012 год — год 150 летия Национального музея, или раньше, на специальном показе, если состояние картины это позволит.

9 июля в Центре польской скульптуры в Оронске открылась выставка «Непокорный», посвященная выдающемуся польскому скульптору — Ксаверию Дуниковскому. Дуниковский был, безусловно, непокорным художником. На всех творческих этапах своей долгой жизни он поражал публику, намного опережая эпоху, в которую ему пришлось работать. Его произведения называли «гипсовыми страшилищами», а автору отказывали в уважении и доверии. Символические скульптурные группы, созданные в период «Молодой Польши», такие как «Материнство» или «Фатум», награждали эпитетами «вычурные» и «странные», а «Беременные женщины» стали причиной скандала не столько из-за формы, сколько из-за тематики, считавшейся в те времена аморальной. Парижский период (1914–1921) ознаменовался следующим скандалом — показом кубистического «Автопортрета. Иду к солнцу», представляющего художника в костюме Адама, гордо шагающим с полной убежденностью в своем исключительном гении.

После войны, как отмечено в подготовленной организаторами выставки экспликации, художник позволил идеалам соцреализма овладеть им. Ну и что из того, если выполненный им демонический бюст Ленина вызвал «недоумение», памятник же Сталину представил «карлика с огромной лапой», а после его открытия «воцарилось немое изумление». Дуниковскому и в самом деле было не по пути с какой бы то ни было идеологией и ни с какой властью.

Выставка в Оронске демонстрирует все этапы творчества художника. Она продлится до 18 сентября 2011 г., а затем будет показана в варшавской «Круликарне», во вроцлавском и щецинском Национальных музеях.

Премьера «Лаунсвуд Гарденс», кинопортрета пользующегося мировой известностью польского социолога Зигмунта Баумана, состоялась 2 июля в варшавском кинотеатре «Муранов». Основа фильма — это неформальный, длившийся несколько дней визит профессора Анны Зейдлер-Янишевской и Павла Кучинского (режиссера фильма) на Лоунсвуд Гарденс, 1, в дом профессора Баумана в Лидсе, в Великобритании. Фильм исследует отношения между баумановской «Современностью и

катастрофой» и «Зимой, на рассвете» — дневником из варшавского гетто, написанным ныне покойной женой профессора Яниной Бауман (архивные материалы знакомят и с нею).

14 августа отмечала свое 90-летие Юлия Хартвиг — поэт, эссеист и переводчик, родом из Люблина. Ее братом был выдающийся фотограф Эдвард Хартвиг, а мужем — ныне покойный поэт и писатель Артур Мендзыжецкий. В картине польской современной литературы Юлия Хартвиг занимает видное место. Ее невозможно однозначно отнести к тому или иному направлению, она занимает свое собственное место, не поддаваясь творческим модам и снобским веяниям. «Несогласие — это моя стихия, это право, за которое я сражаюсь», — пишет поэтесса. Ей исключительно близка французская литература, она переводила, в частности, произведения Аполлинера, Рембо, Макса Жакоба, Сандра и Сюпервьея, опубликовала монографии об Аполлинере и Жераре де Нервале. Переводила также с английского языка («Воспеваю современного человека. Антология американской поэзии», подготовлена совместно с Артуром Мендзыжецким). Юлия Хартвиг — лауреат многих наград, в частности премий Фонда Альфреда Южиковского, премии Торнтон Уальдера, австрийской поэтической премии имени Георга Тракля. Ее книги неоднократно выдвигались на литературную премию «Нике». Гранд-даме польской поэзии — наши лучшие пожелания в связи с прекрасным юбилеем!

В год столетия великого поэта, лауреата Нобелевской премии, Национальный банк Польши выпустил с сентября в обращение монеты «Чеслав Милош. 1911-2004» — золотую, номиналом 200 злотых, серебряную в 10 злотых и в 2 злотых из сплава Nordic Gold. На нынешний год эмиссионными планами Национального банка Польши предусмотрен также выпуск монеты «Пожилые джентльмены» с портретами Ежи Васьковского и Иеремии Пшиборы, создателей знаменитого «Кабаре пожилых джентльменов».

Прощания

27 июня в Варшаве на 68-м году жизни умер Мацей Зембатый, классик польского черного юмора, поэт и сатирик, автор песен и радиопередач. Он прославился также как популяризатор и переводчик текстов канадского барда Леонарда Коэна. Он начинал в студенческих кабаре, а настоящую популярность ему принесло бравурное исполнение на фестивале в Ополе «Похоронного марша» Фредерика Шопена. Зембатый написал к маршу собственный текст, начинающийся словами: «Как

хорошо мне в этом положении / В горизонтальном положении /
Бедные родственники несут меня на своих плечах / А за гробом
идет жена».

Он был одной из главных фигур третьей программы польского радио, одним из создателей знаменитой передачи «Семейство Пошепшинских», кабаре «Дрещовиско» (примерно «Ужаси») и журнала «Згрыз» («Хвать»). В первую годовщину августовских забастовок 1980 г. участвовал в организации Смотра истинной песни «Запрещенные песни». После введения военного положения в декабре 1981 г. был интернирован.

В день похорон, 8 июля, третья программа радио организовала трансляцию из Кракова: в память о Мацее Зембате с башни Марьяцкого (Мариинского) костела прозвучала «Аллилуйя» Леонарда Козна в исполнении трубача Томаша Кудыка.

«Хорошо, что ты был, Мацей, и в сердцах останешься, хотя телефон уже не зазвонит в 4 утра», — написали друзья в некрологе.

6 августа в больнице под Римом в возрасте 80 лет умер Роман Опалка, один из наиболее известных и ценимых в мире польских художников. Его картины на аукционах достигают головокружительных цен. Зимой 2010 г. неизвестный покупатель приобрел в Лондоне три холста Опалки более чем за 700 тыс. фунтов. Несколько десятков лет назад художник начал проект своей жизни — «Опалка 1965. От одного до бесконечности». Он неустанно создавал очередные картины, на которых записывал время с помощью цифр. «Цифровые картины» принесли ему известность и, в результате, признание. «Сначала никто не понимал того, что я делаю. Даже жена думала, что я сошел с ума», — вспоминал художник. Его упрекали в том, что его картины удивительно скучны и монотонны.

В семидесятые годы художник добавил к программе регистрации времени также фотографии и магнитофонные записи. Он выполнял снимки самого себя (всегда одинаково одетым, с одной и той же прической и одним выражением лица), а рисуя, записывал на ленту выговариваемые им очередные цифры.

В мае нынешнего года на выставке в Берлине цифра, достигнутая им на его полотнах, оказалась 5 590 000. «Его мечтой, уже, увы, неосуществимой, было добраться до семи семерок», — рассказала Анда Роттенберг, известный польский историк искусства и художественный критик. А Дорота

Ярецкая написала в «Газете wyborчей»: «Он был исключительным художником, который вписал мимолетность и смерть в свою творческую программу. Всегда одетый в белое, в белой шляпе, худой, в последнее время седой, он говорил, что достиг в своей живописи «ментальной белизны», что последняя цифра, которую он напишет, будет означать «естественный предел» его жизни».

6 августа в Кракове умерла Эва Краковская, живописец и сценограф. Родилась в 1922 г. в Кракове, была студенткой Kunstgewerbeschule — оккупационной Государственной школы художественного ремесла, окончила Краковскую академию изящных искусств. Занималась сценографией, художественным текстилем, живописью и фотографией. В 1945–1961 была женой Тадеуша Кантора. В 2009 г. в издательстве «Cricoteka» вышла ее книга «Наброски по памяти» — рассказ о друзьях, годах брака с Кантором и тогдашнем этапе его творчества.

МАНДЕЛЬШТАМ В ПОЛЬШЕ

История поэзии Мандельштама в польских переводах датируется 1925 годом (это открытие сделал в двухтысячные годы Петр Мицнер, поэт и историк литературы). В изданной за год до майского переворота 1926 года книге «Мои полицейские воспоминания» чиновник польской полиции Генрик Варденский описывает, как в начале Первой Мировой войны под эгидой Польского национального комитета Романа Дмовского и Зыгмунта Велёпольского создавалась польская часть при русской армии. Эта часть, названная Пулавским легионом, должна была составлять противовес пехотным частям Пилсудского, формировавшего будущие легионы на стороне Австро-Венгрии. Мемуарист привел в своем любительском переводе две строфы рифмованного комментария Мандельштама: «*Polacy, wszak nie ma sensu / W bohaterских strzelcow czynach! / Nie poplynie wstecz korytem / Szara Wisla po nizinach! // Czyzby nie pokryly sniegi / Naszych stepow suchej trawy? / Czyz przystoi sie opierac / O Habsburgow kij koszlawy?*». Одновременно это был, как ни парадоксально, пожалуй, первый в мире перевод стихов Мандельштама. Первая публикация стихотворения «*Polacy!*» на страницах популярного петербургского еженедельника «Нива» (№43 от 25 окт. 1914) сопровождала известие о создании в России польских частей. В кругах, близких Мандельштаму, среди завсегдатаев художественного погребка «Бродячая собака», рефлекс солидарности с польским делом был естественным. 16 ноября 1914 года на вечере польской поэзии и музыки в «Бродячей собаке» выступили, в частности, будущий «первый польский футурист» Ежи Янковский и композитор Люциан Марчевский и, что существенно, был исполнен Скрипичный концерт ля-мажор Карловича. Впрочем, здесь польская нота звучала не впервые.

В применении к панславистским лозунгам Дмовского (с 1908 года одного из главных руководителей неославянской политической диверсии в Австро-Венгрии), который еще в 1910 году провел под этими лозунгами празднование 500 летия битвы под Грюнвальдом — а в 1914 году эту традицию подхватила Россия, — доброжелательность к польскому делу в стихотворении Мандельштама нашла себе выражение в форме «малой оды», строго воспроизводящей классический, опознаваемый образец славянофильской политической лирики

Тютчева. Тем же, что у Тютчева и славянофилов (а на их революционном крыле, например, у Бакунина) был и противник — империя Габсбургов:

Поляки! Я не вижу смысла
В безумном подвиге стрелков:
Иль ворон заклюет орлов?
Иль потечет обратно Висла?
Или снега не будут больше
Зимою покрывать ковыль?
Или о Габсбургов костыль
Пристало опираться Польше?
А ты, славянская комета,
В своем блужданьи вековом,
Рассыпалась чужим огнем,
Сообщница чужого света!

Для понимания намерений Мандельштама существенно версификационное и стилистическое единство этого стихотворения с написанной полутора годами позже (в январе 1916 го) антивоенной и антинационалистической «Одой миру», в конце концов получившей название «Зверинец». Призывая во вступлении «воздух горных стран — эфир [космический]; / Эфир, которым не сумели, / Не захотели мы дышать», а в финальной строфе оды рисуя образ почитания «чужестранца, / Как полубога, буйством танца / На берегах великих рек» (Волги и Рейна), поэт в пацифистском контексте предугадывает будущие мотивы «Стихов о неизвестном солдате» (1937). Мандельштам в своем подходе был последователен: между обоими стихотворениями посредниками оказываются статьи «Петр Чаадаев», «Слово и культура», «Пшеница человеческая» и такие стихи, как «А небо будущим беременно...» или «К немецкой речи». На первый взгляд незначительное в своей риторике, стихотворение «Polacy!» 1914 года занимает достойное место в этом ряду.

Начало настоящего знакомства с Мандельштамом в Польше приходится на 1934–1935 гг., когда поэт уже был арестован и сослан в Воронеж. Спустя десятилетия Юзеф Чапский в

парижской эмиграции приводил in extenso стихотворение, которое запомнил со слов Дмитрия Философова в межвоенной Варшаве, поэтическое прощание с Петербургом в 1918 году: «Твой брат, Петрополь, умирает!...» У истоков интереса польских писателей к поэзии Мандельштама стоит как раз Философов (1872–1940). Этот выдающийся критик и публицист, видная фигура Серебряного века, редактор журнала «Мир искусства» (призванного к жизни Сергеем Дягилевым, создателем знаменитых «Русских балетов» и двоюродным братом Философова), ближайший друг и домочадец Зинаиды Гиппиус и Дмитрия Мережковского, корреспондент Мариана Здеховского, в 1926 году оказался в Варшаве и осел тут на всю оставшуюся жизнь, вращаясь в польскую среду. В 1930-е годы, подчеркивая свои тесные связи с польской интеллектуальной элитой, он храбро выступил с публичным протестом против нараставшего в стране антисемитского психоза. По инициативе Ежи Гедройца в 1995 году на православном кладбище в варшавском районе Воля установлен мемориальный камень в честь Философова — могилу его отыскать так и не удалось.

Под конец 1934 года Философов создал в Варшаве польско-русский литературный салон, ироническое название которого — «Домик в Коломне» — было взято у Пушкина. Соучредителями этого частного семинара были Мария и Юзеф Гуттен-Чапские и Ежи Стемповский (вместе с отцом Станиславом, видным масоном, бывшим польским министром в правительстве Украинской Народной Республики) — будущие создатели парижской «Культуры» (1947–2000), столь заслуженной в деле сближения польских и русских либеральных кругов. К «Дому в Коломне» принадлежал также Рафал Блют, замечательный эссеист и один из лучших польских русистов. Обязанности секретаря исполнял поселившийся в Варшаве Лев Гомолицкий, молодой одаренный русский поэт, более известный как польский прозаик Леон Гомолицкий. В число завсегдатаев салона входили Мария Домбровская, Стефан Наперский, Владислав Татаркевич, Юлиан Тувим, Анеля Загорская (племянница и переводчица Джозефа Конрада), из младших — Юзеф Чехович, Болеслав Мицинский, Владислав Себыла, Влодзимеж Слободник. Время от времени здесь появлялся и молодой Ежи Гедройц. В близкой дружбе с Философовым оставались Налковская и Ивашкевич, который, в частности, его имел в виду, когда много лет спустя писал о недооцененной в польской жизни роли ополячивавшихся русских.

Неслучайным выглядит как то, что первый профессиональный польский перевод стихотворения Мандельштама (опубликованный в 1935 году) возник в этом кругу — его сделал Влодзимеж Слободник, так и то, что это было очень важное для Философова стихотворение «Декабрист». Переводы из Мандельштама печатались в основном в варшавской «Квадриге» (журнале группы, с которой был связан Слободник) и люблинской «Камене», редактором которой был Казимеж Анджей Яновский — второй предтеча среди переводчиков Мандельштама. Вероятно, под влиянием Гомолицкого, с которым он был дружен, к кругу переводчиков присоединился Северин Полляк — после войны самый заслуженный популяризатор русской литературы в Польше. Под редакцией Полляка и Мечислава Яструна в октябре 1945 года в третьем с момента возникновения журнала номере «Творчости» «Колонка русской поэзии» наряду со стихами Ахматовой и Цветаевой представляла новый перевод из Мандельштама, на родине посмертно запрещенного. Из составленной теми же редакторами (с послесловием Гомолицкого) антологии «Два века русской поэзии» (1947) исчезло имя Ахматовой, проклятой после августовского постановления 1946 года и доклада Жданова. А к числу переводчиков Мандельштама присоединился Павел Герц — в годы войны советский лагерник, а до войны — юный любимец того же варшавского круга, в котором вращался Философов. Из следующих изданий антологии, вышедших в самый разгар сталинских лет в Польше (1951 и 1954) исчез не только Мандельштам, но и большинство поэтов Серебряного века, широко представленных в первом издании. Полляк восстановил справедливость после октября 56 го антологией «Сто тридцать поэтов» (1957). Тут уже было не пять стихотворений Мандельштама, как в первой антологии, а 16, в том числе четыре были переведены Ежи Помяновским, среди них ставшие потом такими знаменитыми, как «Цыганка» («Сегодня ночью, не солгу...»), которую пела Эва Демарчик, и первое стихотворение из «волчьего цикла» 1931 года («За гремучую доблесть грядущих веков...»).

Появился Мандельштам и на страницах созданного в послеоктябрьской ауре варшавского ежеквартального журнала «Опинье» («Мнения»). Редактором журнала был Полляк, а создавали его вместе с ним Земовит Федецкий и Анджей Ставар. Ставар, довоенный троцкист, прожил сталинские годы в неустанном ожидании ареста. Памятуя свой опыт, он предостерегал коллег: «Мнения! Что за мнения! Какое вы имеет право иметь мнения! Назовите себе журнал как хотите, только не “Мнения”, не то вас посадят!» Уже первый номер обратил внимание московских инстанций: впервые в мире здесь были

напечатаны отрывки из «Доктора Живаго» — несколько глав в переводе вскоре скончавшейся Марии Монгирд. (После вмешательства советского посольства и после травли, вызванной выходом романа в Италии, ПИВ — польский Госиздат — расторг договор с Полляком на перевод всего романа.) Записка отдела культуры ЦК КПСС от 30 августа 1957 гласила:

“По сообщению краковского еженедельника «Жиче литерацке» (от 18 августа 1957 года), в Польше стал издаваться ежеквартальный журнал «Опинье» («Мнения»), посвященный вопросам советской культуры. Вышла первая книжка журнала. Судя по характеру отбора произведений, опубликованных в первой книжке, ежеквартальнику «Опинье» придается враждебная нам направленность.

Под предлогом «добросовестности информации» редакция ежеквартальника взяла курс на публикацию книг, в которых содержатся «вопросы болезненных исторических ревизий», курс на восхваление произведений идейно порочных и чуждых нам, подвергающихся у нас резкой критике.

В числе опубликованных в журнале «Опинье» произведений советских авторов — рассказ Яшина «Рычаги», а также отрывки из неопубликованного антисоветского романа Б.Пастернака «Доктор Живаго».

В связи с вышеизложенным Отдел культуры ЦК КПСС считал бы необходимым поручить советскому послу в Польше обратить внимание польских товарищей на недружественный характер журнала «Опинье» и в соответствующей форме высказать мысль о том, что критическое выступление польской партийной печати по поводу позиций журнала «Опинье» и прекращение дальнейшей публикации сочинения Пастернака было бы положительно встречено советской общественностью.

Было бы также целесообразно рекомендовать Секретариату Правления Союза писателей СССР и редколлегии «Литературной газеты» по получении ежеквартальника «Опинье» организовать публикацию открытого письма группы видных советских писателей, в котором подвергнуть критике позиции этого журнала. Направить это письмо для опубликования в польской прессе и в том числе в редакцию журнала «Опинье»”.

К записке прилагался проект текста телеграммы советскому послу в Варшаве: “Обратите внимание друзей на чуждую нам направленность журнала «Опинье», посвященного советской культуре. Выскажите мысль о том, что прекращение

дальнейшей публикации романа Б.Пастернака и критическое выступление польской партийной печати по поводу позиций журнала «Опинье» встретит должное понимание советской общественности». К документам приложена записка: «Просьба доложить т. Поспелову П.Н. (Обращает на себя внимание: 1. Журнал «Опинье» никто еще не видел. 2. Тон телеграммы)». Под этим приписка от 2 сентября: «Тов. Воронцов В.В. сообщил, что эту записку М.А.Суслов видел и это его указание». 7 сентября Главлит (Главное управление охраны военных и государственных тайн в печати при Совете министров СССР) переслал в ЦК КПСС экземпляр первого номера журнала вместе со справкой о его содержании. 30 сентября заведующий отделом культуры ЦК КПСС отметил, что по этому вопросу предприняты «необходимые шаги». Вскоре «Литературная газета» напечатала зловещую статью «Чьи это “Мнения”?». Журнал не дожидаясь третьего номера. Черту под делом журнала подвела поездка Полляка в Москву. Так как он отказывался приехать по настойчивым приглашениям Союза советских писателей, приглашение было послано ВОКСом (Всесоюзным обществом культурных связей с зарубежными странами). По поручению ЦК гостям устроили торжественную встречу в правлении ССП, собравшемся чуть ли не в полном составе, а затем раздался сакраментальный вопрос. Почти дословно: «Кого вы там печатаете? Какая-то Цветаева, какой-то Мандельштам; а где же мы?»

Полляка, как он посмеивался, рассказывая много лет спустя, понесло. Изображая не слишком хорошее владение русским языком (который он ввиду происхождения отца знал с детства), он ответил: «Не унывайте, товарищи! Они заждались, теперь вы можете подождать. Мы сперва напечатаем Цветаеву, Мандельштама, а потом и вас напечатаем, напечатаем, только подождите».

Перевод Натальи Горбаневской

МАНДЕЛЬШТАМ ПОМОРСКОГО

Итак, после двухтомника Хлебникова и большого избранного Ахматовой Адам Поморский и верное ему издательство «Орен» выпустили большое избранное Мандельштама. Вероятно, следует также сказать, что все эти издания финансировались Фондом польского современного искусства (Фонд Петра Новицкого в рамках проекта «Warszawa — Moskwa / Москва — Варшава 1900–2000»). Подозреваю, что за этим громким названием стоит не основательное, как можно подумать, учреждение, а вклад и усилия немногих людей. Может быть, потому они и приносят такие замечательные результаты.

Замечательность их — на одном примере — я уже представила читателям «Новой Польши» в рецензии «Ахматова Поморского» (НП. 2008. №2). Главное, чего я не могла представить там и не смогу тут, — это высокий уровень переводов, который можно обсуждать только с читателем двуязычным, вдобавок хорошо знающим и чувствующим оригинал. Подумала, не прибегнуть ли к тому же приему, которым я тогда завершала свою рецензию на польский том «Путем всея земли»: привести общеизвестное стихотворение Мандельштама в переводе Поморского — в надежде, что даже не знающие польского сумеют его оценить. И усомнилась: сумеют ли?.. Единственно правильным решением было бы усадить каждого читателя рядом со мной и читать ему вслух, как я это делала когда-то с моими друзьями, вычитывая им переводы из польского сборника Мандельштама 1971 года (как, впрочем, я это делала и сейчас, живя в Москве в семье известного мандельштамиста и читая ему переводы Поморского).

Но помимо того, как хороши переводы, есть в книге Поморского еще немало такого, о чем стоит рассказать русскому читателю.

Начну с того, как книга построена (и начну с этого не случайно, так как выстроена она совершенно иначе, чем, например, «Путем всея земли» Ахматовой, составленная, переведенная и откомментированная тем же Поморским. К каждому поэту он находит свой архитектурный подход). Вступлением служат отрывки из «Шума времени», объединенные общим заглавием «Речь отца и речь матери». Затем следуют разделы по периодам: «1912–1916», «1917–1925», «1930–1934», «1935–1937».

Воронежские тетради» — единственный, где в заглавии появляется название книги (посмертной) и где перед нами только стихи. В остальных же стихи свободно чередуются с прозой, то отрывками, то целыми текстами. Свободно, но следуя замыслу составителя-переводчика: так, «Музыка в Павловске» из «Шума времени» предшествует стихотворению «Концерт на вокзале» (и это лишь один, самый простенький пример сближения стихов и прозы). За вступлением и каждым из четырех разделов следуют комментарии и примечания, позволяющие польскому читателю увидеть весь контекст, включая и контекст русской поэзии, и жизненный контекст, и контекст истории. И всё это завершается большим послесловием «Посмертная жизнь Осипа Мандельштама».

Послесловие начинается главой «Борьба за канон», где, во-первых, собраны все сведения о восприятии творчества Мандельштама в эмиграции и об эмигрантских изданиях, которые позволили и на советской территории включить его имя в «канон» великих русских поэтов XX века — разумеется, на той «территории», которая была неподвластна советским издательствам и их идеологическому начальству и от них не зависела. Зато от них зависело, попадет ли Мандельштам на полки советских книжных магазинов. Адам Поморский напоминает:

“Борьба за издание в СССР сборника стихов (притом ничтожным тиражом) поэта, фактически замученного, продолжалась — если начать отсчет с частичной реабилитации Мандельштама на волне хрущевского перелома 1956 года — 17 лет, до 1973 года. Если прибавить 18 лет, прошедших со смерти в лагере, то поэт ждал этого небольшого сборника 35 лет; а со времени последнего избранного, вышедшего в 1928 году, прошло 45 лет. После 1973 года следующее издание стихотворений Мандельштама на родине вышло только в 1987 году — это стало началом его нормального присутствия в издательской деятельности и читательском восприятии. Выходит, 59 лет — три поколения — почти полного отсутствия на отечественном рынке книги одного из величайших в истории всемирной современной литературы поэтов. А полное отсутствие произведений Мандельштама в советской прессе было фактом с 1932 по 1962 год.

Хоть это и не рекорд, но и по советским условиям это немало, особенно по отношению к поэту со всемирной славой...”

Отсюда Поморский переходит к тяжелой истории издания Мандельштама в СССР, давая, в частности, характеристику того «отвращения к современной литературе и искусству», которое было свойственно как партийной верхушке, так и «советской

гетерогенной консервативно-национальной среде», — отвращения «понятного, независимо от того, чем оно порождалось, соцреалистической ли, пролетарской ортодоксией циничных аппаратчиков, опирающихся на ждановские образцы, или идеологией Blut und Boden — с ходом лет даже не скрываемой»:

“В литературе речь шла даже не об экзорцизмах, произносившихся вплоть до времен перестройки над всем западным модернизмом, с Пруста и Кафки начиная. Ставкой в игре была картина отечественной литературы XX века. В нее не вмещалось творчество десятков самых выдающихся русских поэтов и прозаиков. (...) Полею борьбы за воскрешение Мандельштама с советскими охранниками официального бессмертия стала «Библиотека поэта» (...). Эту борьбу, как оказалось, демократы не могли выиграть — политическая вражда переходила с давно скончавшегося поэта на них”.

И далее следует история этой борьбы в нескольких главах, основанная на материалах, в общем-то известных русскому читателю, хотя не знаю, было ли это когда-то изложено по-русски так систематизированно и с такими характеристиками сторонников и противников поэта, то есть тех, кто пробивал Мандельштама в печать, и тех зловещих, кто всеми силами этому противился, причем первые были «героями-одиночками», а за «всеми силами» вторых стояла мощная сила тоталитарного аппарата. По названиям глав нетрудно понять, о чем и о ком идет речь: «Эренбург», «Твардовский и Орлов», «Шаламов и Солженицын», «Сурков», «Друзин», «Перцов», «Дымшиц», «Спор о советском антисемитизме», «Лесючевский».

Вторую часть послесловия, посвященную истории издания и восприятия творчества Мандельштама в Польше (с 1925 года до второй половины 1990-х), я перевела и первую главу из нее предлагаю читателям «Новой Польши». Еще три главы будут напечатаны в №10 «Иностранной литературы», а заключительную главу «Милош» я включила в свой сборник «Мой Милош» (М.: Новое издательство, 2011, в печати).

А теперь мне хотелось бы обратиться к «комментариям и примечаниям», тем более что из 630 страниц книги они занимают больше двухсот. Для примера приведу комментарий к разделу «1912–1916»:

“Включенные в этот раздел произведения Мандельштама написаны в период, началом которого стало рождение акмеизма под конец 1912 года — одновременно это начало творческой

зрелости поэта. Более ранний цикл юношеских стихов, еще несовершенных и подверженных поэтике символизма, хотя на тогдашнем фоне иногда поразительно оригинальных, не вошел в наше избранное (...). Акмеизм для Мандельштама — школа вкуса и стиля. В рамках этого течения его творчество развивается вплоть до падения царской империи в феврале 1917 года. Это историческое событие, на вид внешнее, означает также в литературе и искусстве конец петербургской эпохи, которая глубинно сформировала поэта и многих его ровесников. Вместе с культурой Петербурга отходит в прошлое акмеизм в своей чистой доктринальной форме поэтической феноменологии, оставшейся позади. Следующей эпохе — революции, гражданской войны, террора и, наконец, антракта советского государственного капитализма (НЭП) первой половины 1920 х — предстояло поставить приверженцев этой культуры в конфронтацию с действительностью пограничных ситуаций. Эта конфронтация неизбежно отражалась на творчестве отдельных поэтов; из акмеистов это испытание, вне сомнения, победоносно выдержали Ахматова, Гумилев и Мандельштам”.

Это комментарий. Аналогичный комментарий, столь же обоснованный, но в дальнейшем — каждый раз это зависит от характеризующих периодов — всё более и более обширный, появляется после всех следующих разделов. А за комментарием следуют уже собственно примечания. Чтобы читатель мог оценить их разнородность, укажу, какого типа примечания дает Поморский к тексту, открывающему этот раздел, — статье «О собеседнике» (не все даже — примерно половину):

Отсылка к источнику цитаты: «Из стихотворения Александра Пушкина “Поэт” (1827)», после чего Поморский приводит полный перевод стихотворения. Аналогично несколько дальше — отсылка к стихотворению «Поэт и толпа». И тоже полный перевод.

«Евгений Боратынский...» — даты жизни, общая характеристика и: «...главный, наряду с Федором Тютчевым, создатель интеллектуально-философской лирики в золотой век русской поэзии. Как и Тютчева, его заново открыло и припомнило поколение символистов на рубеже XIX–XX вв., оба поэта стали учителями акмеистов, особенно Ахматовой и Мандельштама».

Ссылка на цитируемое у Мандельштама стихотворение Бальмонта и отдельное примечание о Бальмонте (даты жизни, характеристика), где, напомнив слова Ахматовой о «провинциальных графоманах», еще долго вдохновлявшихся Бальмонтом и Брюсовым, Поморский добавляет: «Кстати говоря, в эти “графоманы” из провинции Империи следует зачислить Юлиана Тувима, выпускника русской гимназии в Лодзи, который еще

в двадцатые годы восторгался стихами Бальмонта и Брюсова, именно с ними связывая свои обширные переводческие планы».

Везде указаны расхождения первопечатных текстов и их позднейших изданий (в нашем случае — издания статьи в книге «О поэзии», 1928). Но если один случай расхождения дополнительно не комментируется, то о следующем говорится, что в советском издании «Мандельштам затушевывал в своих статьях акценты полемики с символистами — некоторых из них уже не было в живых (Блок, Брюсов, Сологуб), другие находились в эмиграции (Бальмонт, Вячеслав Иванов) или же на родине были загнаны на обочину литературной жизни (Андрей Белый, Максимилиан Волошин). В первопечатном тексте данный пассаж звучал куда острее» — и, как в случае всех остальных расхождений, приводится полный текст.

...Остановлюсь. Эти сотни страниц примечаний и послесловия (и не забудьте о самих переводах) я не устаю читать уже месяц, с тех пор как получила увесистый том из рук Поморского в Кракове в середине мая, на Милошевском фестивале. Вес его я чувствовала, таская рюкзак по самолетам и аэропортам, чтобы в каждую минуту полета или ожидания на пересадке открыть и читать. Читала не по порядку, заглядывая в конец, как будто это детектив и надо узнать, кто же преступник, возвращаясь к началу, доходя до середины и снова кидаясь — иногда куда попало. Но в конце концов, прежде чем сесть за рецензию, прочитала, думаю, всё. Если какую-то мелочь пропустила, то найду, потому что теперь, исполнив долг рецензента, возьмусь перечитывать «в свое удовольствие». Давно я ничего не читала с таким увлечением (разве что «Апологию математики» Владимира Успенского, но это уже не по «новопольской» части).

В заключение отмечу такой любопытный факт. В примечаниях (как я уже показала на двух примерах) приводятся стихи Пушкина, Тютчева, Баратынского и многих других поэтов, иногда отрывки, чаще целиком. В довольно немногочисленных случаях указано имя переводчика. Следовательно, всё остальное перевел сам Поморский для своих примечаний. Это, по меньшей мере, сверхответственное отношение к читателю и к переводимому поэту. Но можно предположить и большее: например, что после Хлебникова, Ахматовой и Мандельштама, Рильке и Элиота в переводах Адама Поморского польский читатель получит и его переводы русской поэзии XIX века — в форме ли антологии или изданий отдельных поэтов.

P.S. Конечно, забыла отметить такой характерно «поморский» ход. В рецензии на Ахматову я приводила ахматовское

двустипное, помещенное «после всего», как бы заключительный удар (или, как говорят поляки, «pointa»). И в томе Мандельштама тоже есть такой последний аккорд. Но это не стихи Мандельштама. Это крохотное стихотворение Всеволода Некрасова (1934–2009):

Ну вот

Воздух

Мандельштам

Это он нам

Надышал

Осип Мандельштам. И не ограблен я, и не надломлен... Стихи и очерки. Выбрал, перевел [на польский] и комментариями снабдил Адам Поморский. Варшава: Научное и литературное издательство Ореп, 2010.

МЫ ЛЮТО ЗАВИДОВАЛИ ИМ

— *Можно ли говорить о полонофильстве советских диссидентов?*

— Наверное, можно. Лозунг «За нашу и вашу свободу!» был у нас в чести еще до того, как мы стали диссидентами, потому что это очень понятный и емкий лозунг. Да, можно, конечно. Бурное полонофильство началось с «Солидарностью». С одной стороны, мы люто завидовали им. А с другой стороны, было огорчительно, что польские интеллигенты смогли сделать то, чего мы не смогли сделать. Так вот я и все мы с завистью смотрели на польских интеллигентов. Как только начались выступления рабочих в Польше, они — несмотря на всякие сложности в отношениях, когда рабочих натравливали на студенческие демонстрации в раннее время, еще до «Солидарности», — они сразу присоединились к этому движению. И не просто присоединились, а оказались очень ценными и даже необходимыми советниками. Потому что рабочих — масса, понятно, в чем их сила. Но если бы у них не было советников, которые у них сразу появились — самые блестящие умы польские из КОРа пришли, — то, наверное, «Солидарность» не состоялась бы в том виде, в котором она состоялась. И я совершенно умирала с зависти, потому что это было действительно всенародное движение. И я понимала, что мы в своем народе вот такого отклика не имеем.

Любая информация об этом жадно ловилась. Лишь где-то в 1982 г., точнее не помню, на Сахаровских слушаниях я встретила двух поляков-телевизионщиков, которые вынуждены были уехать за границу, потому что их преследовали за то, что они там работали на «Солидарность». Они не говорили по-русски и не говорили по-английски. Они говорили по-немецки и по-польски. Но я не говорила по-немецки и по-польски. И поэтому мы с ними разговаривали так: я очень медленно говорила по-русски, а они очень медленно говорили по-польски. И мы разговаривали целыми вечерами. После окончания заседаний садились где-нибудь в холле гостиницы и часа по три, по четыре разговаривали. Им было интересно слушать про Россию. А мне так просто мало сказать интересно про Польшу, я просто как... Я обо всем расспрашивала и всему завидовала. Потому что это действительно было всенародное движение.

А когда у нас в 1989 г. начались шахтерские забастовки, я прямо воодушевилась... Подумала: вот сейчас у нас начинается, как в

Польше, у нас начинается «Солидарность»! И надо, чтобы наша интеллигенция так же пошла к рабочим. Нет, я не оставляла всех своих обязанностей, я тогда была консультантом американской Хельсинкской группы и Хельсинкской комиссии Конгресса. Я это продолжала делать, но основной своей работой стала считать профсоюзы. Я пошла работать в американские профсоюзы в качестве консультанта по советскому рабочему движению. Конечно, ничего я про это рабочее движение не знала, но я им сказала: «А нет специалиста по рабочему движению, потому что движения не было. Зато я полна энтузиазма, я буду учиться». Их это устроило. В 1990 г. меня пустили в Советский Союз, дали первый раз мне приехать. После этого я гораздо больше времени проводила здесь, чем в Америке. И в основном на профсоюзной работе, потому что очень хотела за уши притащить российскую интеллигенцию в рабочее движение, чтобы у нас было, как в «Солидарности». Это не шибко получилось. Ну и, как видите, «Солидарность» у нас не получилась. И поэтому я по-прежнему завидую полякам. И желаю им самого хорошего.

— С кем из польских диссидентов вам хотелось бы познакомиться лично?

— Я знала Марека Новицкого. Какой человек! Я немножко знаю Ромашевского. Ну, конечно, мне хотелось бы познакомиться с Яцеком Куронем, потому что это герой того времени. Я с восхищением отношусь к Адаму Михнику, несколько раз с ним разговаривала. Вы знаете, очень забавно, но именно он меня познакомил с генералом Ярузельским. И мне было очень интересно. Потому что это тоже такой генерал, каких в России не бывает. Нет, Польша — это нечто!

— А чем для вас была Польша в период диссидентства? До 1980 года? Были какие-то события, которые имели для вас значение? Социологи называют их «генерационными», формирующими, определяющими для поколения.

— Нет, генерационными нет, но очень привлекающими внимание — да. Потому что когда создалась Московская Хельсинкская группа в мае 1976 го, сразу появилась «Хартия-77» в январе 1977 г. в Чехословакии и Польский Хельсинкский комитет [вероятно, имеется в виду Комитет защиты рабочих — КОР; Хельсинкский комитет был создан в 1982]. И это было потрясающе. Мы жили в закрытых странах, мы не могли общаться, но мы шли вместе. Потом Ромашевский приезжал к Сахарову, но я уже была в эмиграции, я тогда его не видела, я позже с ним повстречалась. И вот такое ощущение, что из бывших стран Варшавского договора или

социалистического лагеря эти бараки — чехословацкий и польский — конечно же, самые свободные и самые симпатичные.

— Скажите, испытывали вы когда-нибудь чувство вины по отношению к полякам? И с чем оно было связано?

— (После продолжительной паузы) Да. Испытывала. Но если вспоминать польские восстания или Катынь, хотя Катынь уже была при моей жизни, об этом я знала, но это не было частью моей собственной жизни. Как историк, я могу понять, что да, в этом есть вина. Но благодаря позиции Герцена мы можем сказать, что были в России порядочные люди, которые к полякам хорошо относились, сочувствовали их восстаниям и так далее.

А у меня было свое переживание, когда мне перед Польшей было стыдно. Девочкой в эвакуации во время войны я жила в Ижевске. И там были интернированные поляки. Они жили в бараках и работали на принудительных работах. И это было довольно близко от того общежития, где мы жили. И я видела, как их водили на работы. Вот по отношению к ним мне было тогда действительно очень стыдно. За что мы их? Понятно, что это не были преступники. Это были люди, которых только за то, что они поляки, поместили в бараки и держали в жутких условиях.

— Насколько близко вы могли наблюдать их жизнь? Вы были с кем-то из них знакомы?

— Нет. Я просто видела. Они жили отдельно, были огорожены. Их выпускали куда-то, но они ни с кем не разговаривали. Но это близко от нас было, и я просто видела их довольно часто.

— Сколько вам было лет тогда?

— Пятнадцать. Было стыдно.

— Скажите, события времен войны в Польше и вокруг Польши каким-то образом влияли на появление диссидентского, оппозиционного мышления здесь?

— Вы имеете в виду Варшавское восстание?

— Да, например Варшавское восстание, Катынь, депортации поляков...

— А! Да! Вот когда мне было стыдно — «Канал» смотрела. Фильм «Канал»! Ой, стыдобушка! Ведь я же знала, что наши

стояли и не помогли Варшаве.

— *Откуда вы это знали?*

— Не помню. Но я уже знала. Уже он прошел, и мне все говорили: «Ой, ты пропустила такой потрясающий фильм!» И он шел только в одном кинотеатре на Пятницкой, и я туда специально ездила смотреть его, одна ездила. И я уже знала заранее, что наши стояли на другом берегу Вислы. Я, наверное, помнила это из военных сводок. Ведь тогда передавали: «Мы не мо о ожем войти...» А когда я посмотрела фильм, я эти события представила себе совсем иначе. И я понимала, что мы их предали. И тогда было ужасно стыдно. Да.

— *Польское кино тоже имело какое-то значение для вас?*

— Вайда! «Пепел и алмаз» и какой-то фильм, названный по имени лошади про начало войны, совершенно потрясающий, я забыла, как он назывался [«Лётна»]. И «Канал»... Да, это, конечно, я все смотрела.

— *Как бы вы сформулировали свои чувства, ощущения по отношению к Польше?*

— Вы знаете, это то, на что я смотрю как на наше будущее. Польша, с одной стороны, ближе к нам, чем, скажем, Чехия и тем более Германия-Англия-Франция. В то же время Польша очень быстро европеизировалась из всех стран бывшего Варшавского договора. И быстрее и шире всех остальных совершила экономические реформы и демократические преобразования. И я смотрю и думаю: это то, что у нас будет через какое-то время.

— *До сих пор так думаете?*

— Да. Я надеюсь. Тем более, что и наши коллеги в Польше тоже на это надеются. Марек Новицкий со своей командой, Польским Хельсинкским фондом, они у нас очень много работали. И это помогало тому, чтобы мы шли в выбранном и желаемом направлении. И несмотря на то, что Марека не стало, мы сейчас продолжаем это делать. Вот сейчас у нас, у Московской Хельсинкской группы, большой проект, мы договариваемся о нем с фондами и партнерами — проект обучения штата нашего уполномоченного по правам человека, наших региональных уполномоченных и членов комиссий по правам человека в субъектах Российской Федерации. Мы их будем учить тому, что такое права человека. Мы их будем учить с помощью поляков. Когда мы начинали 10 лет назад, то у нас

даже и учить некому было, у нас один-два человека были, которые могли бы учить. Нам надо было обращаться к полякам. Сейчас у нас есть собственные учителя, но все равно польские коллеги и их участие очень ценно, потому что они могут не только рассказывать, они могут потом повезти в Польшу и показать, что получилось. Например, по реформе пенитенциарной системы Польша гораздо дальше нас ушла. По осуществлению гражданского контроля за закрытыми учреждениями Польша гораздо дальше нас ушла. Нам есть чему учиться. И у Польши легче учиться, чем у Германии и скандинавских стран, это совершенно для нас другой мир. А Польша — это нечто очень понятное. И кроме того в Польше очень многие понимают русский язык и могут ответить понятно, — мы же славяне. И это тоже очень важно.

— Не кажется вам, что сегодня поляки больше заинтересованы в контактах с Россией, чем мы?

— А это разве так? Нет, мне так не кажется. Что касается нашей работы, то мы по-прежнему в связях с ними очень заинтересованы. Они же нас учат, а не мы их.

Беседу вела Татьяна Косинова

А когда у нас в 1989 г. начались шахтерские забастовки, я прямо воодушевилась... Подумала: вот сейчас у нас начинается, как в Польше, у нас начинается «Солидарность»! И надо, чтобы наша интеллигенция так же пошла к рабочим. Нет, я не оставляла всех своих обязанностей, я тогда была консультантом американской Хельсинкской группы и Хельсинкской комиссии Конгресса. Я это продолжала делать, но основной своей работой стала считать профсоюзы. Я пошла работать в американские профсоюзы в качестве консультанта по советскому рабочему движению. Конечно, ничего я про это рабочее движение не знала, но я им сказала: «А нет специалиста по рабочему движению, потому что движения не было. Зато я полна энтузиазма, я буду учиться». Их это устроило. В 1990 г. меня пустили в Советский Союз, дали первый раз мне приехать. После этого я гораздо больше времени проводила здесь, чем в Америке. И в основном на профсоюзной работе, потому что очень хотела за уши притащить российскую интеллигенцию в рабочее движение, чтобы у нас было, как в «Солидарности». Это не шибко получилось. Ну и, как видите, «Солидарность» у нас не получилась. И поэтому я по-прежнему завидую полякам. И желаю им самого хорошего.

— С кем из польских диссидентов вам хотелось бы познакомиться лично?

— Я знала Марека Новицкого. Какой человек! Я немножко знаю Ромашевского. Ну, конечно, мне хотелось бы познакомиться с Яцеком Куронем, потому что это герой того времени. Я с восхищением отношусь к Адаму Михнику, несколько раз с ним разговаривала. Вы знаете, очень забавно, но именно он меня познакомил с генералом Ярузельским. И мне было очень интересно. Потому что это тоже такой генерал, каких в России не бывает. Нет, Польша — это нечто!

— А чем для вас была Польша в период диссидентства? До 1980 года? Были какие-то события, которые имели для вас значение? Социологи называют их «генерационными», формирующими, определяющими для поколения.

— Нет, генерационными нет, но очень привлекающими внимание — да. Потому что когда создалась Московская Хельсинкская группа в мае 1976 г., сразу появилась «Хартия-77» в январе 1977 г. в Чехословакии и Польский Хельсинкский комитет [вероятно, имеется в виду Комитет защиты рабочих — КОР; Хельсинкский комитет был создан в 1982]. И это было потрясающе. Мы жили в закрытых странах, мы не могли общаться, но мы шли вместе. Потом Ромашевский приезжал к Сахарову, но я уже была в эмиграции, я тогда его не видела, я позже с ним повстречалась. И вот такое ощущение, что из бывших стран Варшавского договора или социалистического лагеря эти бараки — чехословацкий и польский — конечно же, самые свободные и самые симпатичные.

— Скажите, испытывали вы когда-нибудь чувство вины по отношению к полякам? И с чем оно было связано?

— (После продолжительной паузы) Да. Испытывала. Но если вспоминать польские восстания или Катынь, хотя Катынь уже была при моей жизни, об этом я знала, но это не было частью моей собственной жизни. Как историк, я могу понять, что да, в этом есть вина. Но благодаря позиции Герцена мы можем сказать, что были в России порядочные люди, которые к полякам хорошо относились, сочувствовали их восстаниям и так далее.

А у меня было свое переживание, когда мне перед Польшей было стыдно. Девочкой в эвакуации во время войны я жила в Ижевске. И там были интернированные поляки. Они жили в бараках и работали на принудительных работах. И это было довольно близко от того общежития, где мы жили. И я видела, как их водили на работы. Вот по отношению к ним мне было тогда действительно очень стыдно. За что мы их? Понятно, что

это не были преступники. Это были люди, которых только за то, что они поляки, поместили в бараки и держали в жутких условиях.

— *Насколько близко вы могли наблюдать их жизнь? Вы были с кем-то из них знакомы?*

— Нет. Я просто видела. Они жили отдельно, были огорожены. Их выпускали куда-то, но они ни с кем не разговаривали. Но это близко от нас было, и я просто видела их довольно часто.

— *Сколько вам было лет тогда?*

— Пятнадцать. Было стыдно.

— *Скажите, события времен войны в Польше и вокруг Польши каким-то образом влияли на появление диссидентского, оппозиционного мышления здесь?*

— Вы имеете в виду Варшавское восстание?

— *Да, например Варшавское восстание, Катынь, депортации поляков...*

— А! Да! Вот когда мне было стыдно — «Канал» смотрела. Фильм «Канал»! Ой, стыдобушка! Ведь я же знала, что наши стояли и не помогли Варшаве.

— *Откуда вы это знали?*

— Не помню. Но я уже знала. Уже он прошел, и мне все говорили: «Ой, ты пропустила такой потрясающий фильм!» И он шел только в одном кинотеатре на Пятницкой, и я туда специально ездила смотреть его, одна ездила. И я уже знала заранее, что наши стояли на другом берегу Вислы. Я, наверное, помнила это из военных сводок. Ведь тогда передавали: «Мы не сможем войти...» А когда я посмотрела фильм, я эти события представила себе совсем иначе. И я понимала, что мы их предали. И тогда было ужасно стыдно. Да.

— *Польское кино тоже имело какое-то значение для вас?*

— Вайда! «Пепел и алмаз» и какой-то фильм, названный по имени лошади про начало войны, совершенно потрясающий, я забыла, как он назывался [«Лётна»]. И «Канал»... Да, это, конечно, я все смотрела.

— *Как бы вы сформулировали свои чувства, ощущения по отношению к Польше?*

— Вы знаете, это то, на что я смотрю как на наше будущее. Польша, с одной стороны, ближе к нам, чем, скажем, Чехия и тем более Германия-Англия-Франция. В то же время Польша очень быстро европеизировалась из всех стран бывшего Варшавского договора. И быстрее и шире всех остальных совершила экономические реформы и демократические преобразования. И я смотрю и думаю: это то, что у нас будет через какое-то время.

— *До сих пор так думаете?*

— Да. Я надеюсь. Тем более, что и наши коллеги в Польше тоже на это надеются. Марек Новицкий со своей командой, Польским Хельсинкским фондом, они у нас очень много работали. И это помогало тому, чтобы мы шли в выбранном и желаемом направлении. И несмотря на то, что Марека не стало, мы сейчас продолжаем это делать. Вот сейчас у нас, у Московской Хельсинкской группы, большой проект, мы договариваемся о нем с фондами и партнерами — проект обучения штата нашего уполномоченного по правам человека, наших региональных уполномоченных и членов комиссий по правам человека в субъектах Российской Федерации. Мы их будем учить тому, что такое права человека. Мы их будем учить с помощью поляков. Когда мы начинали 10 лет назад, то у нас даже и учить некому было, у нас один-два человека были, которые могли бы учить. Нам надо было обращаться к полякам. Сейчас у нас есть собственные учителя, но все равно польские коллеги и их участие очень ценно, потому что они могут не только рассказывать, они могут потом повезти в Польшу и показать, что получилось. Например, по реформе пенитенциарной системы Польша гораздо дальше нас ушла. По осуществлению гражданского контроля за закрытыми учреждениями Польша гораздо дальше нас ушла. Нам есть чему учиться. И у Польши легче учиться, чем у Германии и скандинавских стран, это совершенно для нас другой мир. А Польша — это нечто очень понятное. И кроме того в Польше очень многие понимают русский язык и могут ответить понятно, — мы же славяне. И это тоже очень важно.

— *Не кажется вам, что сегодня поляки больше заинтересованы в контактах с Россией, чем мы?*

— А это разве так? Нет, мне так не кажется. Что касается нашей работы, то мы по-прежнему в связях с ними очень заинтересованы. Они же нас учат, а не мы их.

Беседу вела Татьяна Косинова

Ежи Гужанский

СТИХОТВОРЕНИЯ

Мадонна со святыми и ангелами (Джотто)

Кому ведомо
точное число ангелов?
Их всегда столько,
сколько необходимо.
Хотя немного меньше,
чем у Чимабуэ.

На одного ангела
или на двух.

Третьего ангела
никто не считает.

Скрытого в темноте
и плачущего от счастья.

Благовещение (Джотто)

Коленопреклоненная Мария
профилем обращена в сторону,
узнать которую нам не дано.

Зато откинута занавеска
обнаруживает помещение,
в котором, быть может,
мы когда-нибудь окажемся.

Преклонив колени.

Смиренно.

Не задавая вопросов.

Не требуя ответа.

Помещение, пожалуй, освещено
блистанием метеоров.

А может, стальным
поблескиванием топора.

Что ж,
нельзя требовать от помещения
совершенства.

Совершенство, преклонив колени,
всегда стоит в одиночестве
и не смотрит нам в глаза.

Девушка, прядущая шерсть (Джотто)

Если хотите,
чтобы этот механизм исследования
(сам не исследованный до конца)
раскрутился как надо —
в смысле головокружения,
а не голого кружения —
посмотрите на эту девушку,
будто глядящую в зеркало,
избавленное
от каких-либо признаков подобия
чему бы то ни было.

Эта девушка проста и нестыдлива.

Колени, распяливающие платье.

Простота и нестыдливость.
Ничего более прочного
и ничего более хрупкого.
Хотя ее и распирает
уверенность королевы рода,
того рода,
что отважно
препятствует истреблению.
Моток, навивающий вожделение.
Помолвка с кошмаром преходящего.
Нет очевидной драматургии —
всегда запоздалые жесты.
Мы да пребудем с Тобой,
Мать нескончаемой повести.

Сон Иоахима (Джотто)

Спящий святой
свят стократ.
Даже когда ему снятся
черти рогатые.
И псы, ощеривающие клыки.
И лондонская мгла,
пожирающая Шерлока Холмса.
Небожественная комедия
и богобоязненная любовница.
Пенный океан
и пасти акул.

И даже крот, неустанный
в подрывной деятельности.
Только в небе и больше нигде
снятся ангельские сонмы.

А когда,
не дай Бог,
кому-то приснится Гитлер,
тогда воют сирены
воздушной тревоги.

И тут просыпаются ангелы,
проспавшие тысячу лет.
Потом тишина с грохотом
прокатывается по звездам —
и наступает вечность,
которую каждый тревожит.
И ничего в ней не понимает.

Проповедь птицам (Джотто)

Святой Франциск Ассизский,
прозванный Бедняком,
не обещает птицам,
что им станет легче.

Он считает птиц,
как считает слова —
должно хватить на всех.

У капитализма милосердия
во все эпохи

есть свои приверженцы.

В бухгалтерии благотворительности

хорошо разбирался царь Мидас —

на благо бедных

делая всё,

чтобы еда

не превращалась в золото.

Но Святой Франциск —

исключение.

Он толкует птицам,

что легче им не станет.

Враги передразнивают его:

«Летите и падайте».

А они летят и поют.

Путешествие Гельдерлина

Этот бледный серп луны

над августовской нивой,

словно моя молодость

над старостью —

ничего не обещает,

лишь светит оранжево,

как свеча на ветру,

косая от загробной жизни.

И как в каждом

несчастье бренности —

все промелькнувшие,

случайные образы
отдаляются,
играя комедию ошибок —
вместо того чтобы не спать
над пропастью,
отверстой во мне.

Я выпал из потока времени

Это говорит
в американском фильме «Часы»
поэт, больной СПИДом.
Вот уже примерно сто лет,
как поэты выступают в кино
законченными неудачниками.
Следует однако помнить:
если поэт проигрывает,
мир отступается от всех своих грёз —
Видны ширмы —
черные — как распростертые
крылья ворона,
за которыми два гнома
(один — гастрономический,
другой — компанейско-танцевальный)
и осел Колумба
ведут богословский спор,
но говорят не о смысле
открывать Новый Свет,

но о растущей нехватке
свободного пространства.

Эта фраза —

«я выпал из потока времени»,
что она вообще значит?

О поэте ли речь,
который лежит на левом
или на правом боку?

Кому поэту
быть благодарным за то,
что получил дар
наблюдения взаимосвязей
таинственных и трудно
распознаваемых фигур,
взаимоотяготеющих
как слова, плачущие
над выпавшей буквой?

В американском фильме «Часы»
поэт, больной СПИДом,
выбрасывается из окна —
не как стрелка часов,
утратив сцепку
с шестеренками,
а потому,
что так решил.

На глазах женщины,

выражающих любовь и ужас.

Кому-то же надо тут остаться

и начать наконец забывать.

МИР ЗА МИРОМ

Ежи Гужанский (р. 1938) — прозаик, автор радиопередач, спортивный колумнист — один из тех поэтов, творчество которых довольно долго оставалось в тени. Дебютировал в 1963 г. книгой «Проба пространства». Когда сборник «Святой брод» (1985) распахнул наконец перед его лирикой дверь в новое поэтическое пространство, для польской поэзии наступило не самое удачное время: важнее казались дела общественные, литературные дискуссии приутихли, критика замолчала, в результате чего многие из вышедших в те годы замечательных книг остались не оцененными по достоинству и не нашли широкого читателя.

Следующие книги Гужанского стали подтверждением растущего уровня его лирики, усвоившей как опыт польского авангарда, так и, в особенности, опыт исканий французской поэзии в лице Андре Бретона, Блеза Сандрара и Анри Мишо. Проникнутые интеллектуальным, вернее философским, началом, эти стихи зачастую вовлекают читателя в интертекстуальные игры, как, например, «Песенка капитана Немо» из сборника «Дебют с ангелом» (1997), в которой с отголосками детского чтения фантастики Жюль Верна соседствуют отсылки к Юлиушу Словацкому:

Есть на Праге улица Виленская,
над которой никогда не пролетали
кочевники журавли,
только стаи ворон
в зимней мгле.

Варшавская Прага и ее реалии, часто возникающие в творчестве Гужанского, имеют для него автобиографическое измерение: именно там поэт провел детство и юность, к которым он возвращается в последних своих книгах, причем не только поэтических; взять хотя бы сборник «С чего следует начать» (2009).

Постепенно в писаниях Гужанского все заметнее становится своего рода смешение жанров, начинает преобладать поэтическая проза, и наконец, в последней книге «За этим

миром» (2011), — поэтическая эссеистика. Таким образом Гужанский входит в круг творцов, ищущих для своей поэзии новой, «более емкой», по определению Чеслава Милоша, формы выразительности. На первый план выходит проблема взаимозависимости языка и действительности. Не случайно последний сборник поэтических мини-эссе Гужанского открывается отсылкой к тезису Людвиг Витгенштейна: «Границы моего языка означают границы моего мира». Этот тезис из «Логико-философского трактата» венского философа оспаривается в следующем фрагменте: «Мир и язык философа — не то же самое, что мир и язык поэта, который всматривается в свой язык гораздо внимательнее, чем в свой мир. Потому что свой язык он полагает предстоящим своему миру и в то же время стоящим за этим миром».

Здесь Гужанский противопоставляет познающую функцию языка его творящей функции. В этом, творящем языке можно услышать «песенку капитана Немо» и открыть «мир подводной навигации» в серых буднях варшавской Праги пятидесятых годов прошлого века. Поэтому и появляется в следующей картине процитированного выше стихотворения в прозе

Зашифрованный план детства (в том моем прошлом
пражском мире):

берет (слишком просторный)

пол (навощенный)

костюм (слишком тесный)

селедка в сметане (аккурат)

Этот шифр, быть может, уже не удастся прочесть, так же как по планам предвоенных городов нельзя восстановить предвоенную жизнь: остались названия, вызывающие в памяти образы, которые невозможно вербализовать, как образы снов. Они существуют уже только в мире стихотворения, который есть мир за миром. Отсюда драматизм заключительного вопроса: «Могу ли я выбраться из того мира и обрести себя в этом мире, непригодном ни для какого бытия?» На этот вопрос, ясное дело, нет ответа. Либо всякий ответ будет истинным. Либо — молчание.

ВЫПИСКИ ИЗ КУЛЬТУРНОЙ ПЕРИОДИКИ

Каникулы я провожу в маленьком поселке неподалеку от Пулав, за газетами выбираюсь в ближайший городок Гневошув, все это по «правильной», левой стороне Вислы, но уже в «восточном» пространстве Речи Посполитой. Чтобы ухватить «Газету выборчую», надо отправляться чуть не с рассветом, потому что днем ее уже точно не будет, как нет и серьезных еженедельников, которых здесь просто не заказывают, потому что никто их не покупает. Проще с «Жечпосполитой»; всегда можно купить «Наш дзенник» — газету медиа-концерна свящ. Рыдзыка, создателя «Радио Мария» и телеканала «Трвам». Вот и попалась мне эта газета от 3 августа (2011, №179), как раз на следующий день после московской конференции МАК (Международного авиационного комитета), с материалами по поводу доклада министра Миллера о смоленской катастрофе. Комментарии и рассуждения занимают 8 из 16 полос газеты. А на последней странице я обнаружил статью Юзефа Шанявского под названием «Россия — враг или плохой сосед?», окончание которой суммирует все остальные тексты: «Вопрос — могла ли бы Россия Путина запланировать покушение? Мы знаем, какие цели были у России в период разделов Польши. Знаем историю каторги миллионов поляков в Сибири, русские виселицы для величайших польских героев. Помним о 17 сентября, о Катыни, да и о военном положении, и, пускай даже правда о смоленской катастрофе навсегда останется в сейфах московского Кремля, а так или иначе всё это, с позволения сказать, следствие, связанное с катастрофой, показывает не только недобрую волю, но наихудшую волю нынешних властителей Кремля. И, пожалуйста, не питайте иллюзий, что это польский премьер Туск, его министр Миллер или русская генерал Анодина владеют правдой о катастрофе 10 апреля. Как и все мрачные тайны Кремля, правда о судьбе польского самолета находится в личном распоряжении того, кто ныне правит Россией».

Не стану скрывать, что приведенные слова для многих моих соотечественников означают вот что: как давным-давно известно, Россия, независимо от того, что происходит, была, есть и навеки останется врагом Польши. К счастью, таких соотечественников становится всё меньше, и думаю, что с ходом неизбежной смены поколений они будут исчезать, хотя,

безусловно, всегда найдутся такие, для которых партнерство Польши и России будет невообразимым. Что ж, за демократию надо платить и тем, что приходится считаться с существованием самых радикальных взглядов. И, наверное, лучше, когда они выражаются прямо и открыто, чем если бы их приходилось возвращать в подполье. Комментируя ситуацию в фельетоне на страницах «Ньюсуик» (2011, №32), поэт Томаш Яструн пишет: «Вот и продолжается неустанное воскрешение беспорочного польского кретина. Он стоит в сиянии единственной истины и поносит всё иное. В этой среде господствует мышление молота, серпа и наковальни». Что же до обид, которые нанесла нам Россия, то добавлю еще одну (предупреждаю: я шучу!): в первой половине 1950-х польский джаз загнали в подполье.

К счастью, из таких моральных оков мы освободились сравнительно быстро, поскольку уже в 1956 г. в Сопоте состоялся первый фестиваль этой музыки, в ходе которого выступил даже один враждебный империалистический коллектив из Великобритании: британские музыканты ехали тогда в Польшу на свой страх и риск, на родине их попросили подписать заявления, что они отдают себе отчет в опасностях, связанных с выездом за железный занавес, и тем самым отказываются от претензий на опеку со стороны собственных дипломатов. Это были и в самом деле поразительные времена, когда политбюро КПСС принимало решения касательно существования какой-то мушки, у которой наследственный механизм противоречил действующим доктринам о царящем в природе детерминизме, а квантовую теорию признавали буржуазной лженаукой, что можно проверить по «Краткому философскому словарю» 1953 года. Из этих сумерек середины прошлого столетия Польша выбиралась довольно энергично. Вскоре были организованы, причем вполне официально, такие фестивали, как посвященная музыкальному авангарду «Варшавская осень», а также варшавская «Джаз-Джамбори» или вроцлавский «Джаз над Одером». Многие мои знакомые из бывшей ГДР рассказывали мне, что в тот период приезды на эти фестивали были для них необычайно вдохновляющим событием.

Нынче мы в данной области культурной жизни продвинулись значительно дальше, от фестивалей аж в глазах рябит, особенно летом. В статье Бартека Хацинского «Крупницы золота» в «Политике» (2011, №32) говорится:

«Наконец-то мы впереди в культурном соревновании, значение которого все растет. У нас самые лучшие музыкальные

фестивали. Пока с точки зрения отношения качества к цене. Значительно больше полумиллиона человек приедет в этом году на польские музыкальные фестивали, и это только на самые главные. Если же учитывать всё большие тематические мероприятия с электронной музыкой, регги, блюзом или готическим роком, можно к этому числу добавить еще сто тысяч. «Остановка Вудсток» собирает, по оценкам полиции, до 400 тыс. зрителей. Но и организаторы музыкальных «билетных» мероприятий не скрывают удивления, что Польша из страны, не тронутой фестивальным безумством, становится его центром. Десять лет назад бесплатная «Остановка» собирала менее половины нынешней публики, а большинства мероприятий с билетами вообще не было. Тогда полагали, что привыкшие к дармовым зрелищам, организованным спонсорами и крупными радиостанциями, слушатели не захотят платить за концерты. (...) Десять лет назад никто даже не думал, что в Польше появится один из самых серьезных фестивалей альтернативной музыки («Off Festival» в Катовице — последний раз 13 тыс. посетителей) и два авторских, городских мероприятия с электронной музыкой («Audioriver» в Плоцке и «Новая музыка» в Катовице — по 15 тысяч)».

Далее, анализируя специфику польских фестивалей, автор пишет:

«Когда 40 лет назад Майкл Ивис начинал «Glastonbury Festival» на своей ферме, он брал за билет 1 фунт, — в цену входило молоко местных коров с условием: пьешь столько, сколько сможешь надоить. Сегодня цена участия в этом легендарном мероприятии несколько выше — 200 фунтов, т.е. более 900 злотых. (...) И в то время, как знаменитый фестиваль альтернативной музыки «Primavera Sound» в Барселоне стоит в пересчете 600 злотых, его младший конкурент в Катовице «Off Festival» — едва ли четверть этой цены. «Когда я беседую с иностранными журналистами, то первое, на что я обращаю их внимание, это факт, что у нас прекрасный line-up [состав выступающих] и сравнительно дешевые билеты», — говорит Артур Роек, директор «Off Festival» (...). А представителей масс-медиа из-за рубежа приезжает все больше — как и на другие польские фестивали. За ними, полагают организаторы, должны приехать обычные зрители из-за границы. (...) «Польша в последние годы — наиболее динамично развивающийся фестивальный рынок Центральной Европы», — комментирует Роек. — Это видим и мы, и зарубежные агенты, которые работают на этих рынках». Ведь к нам приезжают те же самые исполнители, которые выступают как главные звезды

западных мероприятий. А вдобавок вход дешевле, а цена пива даже в два раза ниже».

Несколько иной взгляд на фестивальную действительность представлен в статье «Живой звук» Петра Косевского и Роберта Закшевского в «Тыгоднике повсехном» (2011, №32):

«В Польше символом летних фестивалей стал Яроцин. Хотя его начало восходит к 1970 г., «настоящий» Яроцин начался десятилетием позже, когда Вальдемар Хелстовский и Яцек Сыльвин организовали рок-представление, которое стало местом встречи молодого поколения и манифестацией независимой музыки. И даже одним из главных общественных впечатлений тогдашнего подраставшего поколения. (...) На последнем фестивале в 1994 г. занавес опустился (в 2005 году мероприятие возобновили, а нынешний фестиваль, вернувшийся к старому формату прослушивания молодых ансамблей, дает надежду на появление чего-то особенного на предсказуемом польском музыкальном рынке). Не только Яроцин имел проблемы с существованием в Третьей Речи Посполитой. В течение десяти лет со словом «фестиваль» ассоциировались прежде всего телевизионные представления, которые мы унаследовали от ПНР. Ситуация начала быстро изменяться в новом столетии (...). Из года в год список летних фестивалей в Польше становится все длиннее. К числу наиболее значительных в последние годы добавились краковский «Coke Live Music Festival», «Selector Festival» (посвященный электронной и танцевальной музыке), варшавский «Orange Warsaw Festival», катовицкий «Tauron — Новая музыка», «Audioriver» в Плоцке. Так сказать, потихоньку отрабатываем долги. Польша не только не отстает уже от западной музыкальной жизни, но наработала фестивали, значимые для европейского рынка. Важно, что всё чаще польские мероприятия упоминаются в международных рейтингах и на них появляется зарубежная публика».

Говоря о фестивале «Остановка Вудсток» в Костшине над Одером, авторы обращают внимание на его специфику: «“Остановка” — это не только музыка, но прежде всего возможность встречи социально ангажированных молодых людей». И в самом деле, ежегодно в ходе фестиваля организуются встречи с видными в общественной жизни личностями, — на этот раз гостем был бывший премьер-министр, а ныне президент Национального банка Польши Марек Белька.

В конце статьи авторы обращают, однако, внимание на кризис, который, как кажется, добрался до такого рода мероприятий:

«Недавно создатель «Glastonbury» Майкл Ивис заявил, что не только его легендарный фестиваль имеет перспективу лишь в три-четыре года, но и вообще популярность таких мероприятий закончится. Фаны музыки всё больше ими пресыщаются, подчеркивает Ивис. Его мнение разделяют все крупные западные масс-медиа. Насколько справедливо? Уже в нынешнем году несколько английских фестивалей столкнулись с проблемами при продаже билетов, однако Данни Лейферс на интернет-странице «New Musical Express» замечает, что высказывание Ивиса звучит несколько мелодраматично. Быть может, снижение заинтересованности фестивалями — это следствие рецессии, а также превышающего спрос предложения. Следует, однако, помнить, что фестивали, в особенности «Glastonbury», сейчас уже почти что национальные институции — и они не исчезнут до тех пор, пока будет жива страсть к живой музыке».

Пока что фестивали в Польше — не исключено, что в силу низких цен на билеты, — как кажется, в очень хорошей кондиции. Заголовок корреспонденции Артура Лукасевича в «Газете wyborczej» (2011, №183) не оставляет в этом никаких сомнений: «Вудсток — рекордное посещение»:

«На «Остановку», как оценивает местная полиция, приехало 700 тысяч зрителей. Это рекорд последних лет для концертов и музыкальных фестивалей в Польше. Решающее влияние оказало выступление «[The] Prodigy». На эту группу в субботу съехались паломники из Германии и со всей Польши. У гигантской сцены высотой в пять этажей собралась бесчисленная толпа. Она производила потрясающее впечатление. Море голов, в страшной тесноте едва ли можно было сделать хотя бы шаг. (...) «Prodigy» прибыла под усиленным эскортом полиции и выступила в своем стиле — с дьявольской одержимостью и брутальностью в поэтике техно, которой никогда на рок-н-рольном «Вудстоке» не слышали».

А ведь не только музыкальные фестивали множатся, как грибы после дождя. Все больше сейчас в Польше театральных смотров и разного рода местных, региональных мероприятий, в том числе международных, таких, например, как концерты грегорианских хоров в Хайнувке, или «Фестиваль четырех культур» в Лодзи, фестиваль еврейской культуры в Кракове, или, наконец, кинофестиваль «Два берега», который, когда я пишу эти слова, проходит в Казимеже-Дольном и в расположенном на другом берегу Вислы Яновце. Это один из наиболее существенных показателей цивилизационной открытости после выхода из прокрустового ложа того, что до 1989

г. носило уродливое название «культурная политика социалистического государства». Разнородность и многоголосье постоянно расширяющегося культурного предложения, как в элитарном, так и в популярном измерении, возможны именно благодаря высвобождению культуры из политических обусловленностей, что, впрочем, не означает отсутствия в каких-либо артистических проявлениях политики как объекта заинтересованности и рефлексии. Умение создавать мероприятия, конкурентоспособные на довольно сильном европейском рынке, организационная состоятельность, возрастающая динамика событий — всё это результат высвобождения усыпленных перед сменой строя творческих сил не только в чисто артистическом, но также и в деловом измерении. Но стоило бы также в конце привести рассуждение музыканта, одного из создателей группы «Voo Voo» Войцеха Ваглевского, помещенное в статье Войцеха Боновича «Играю, ибо мыслю» в цитированном выше номере «Тыгодника повсехного»:

«Мало ввести людей в транс, надо их умело из него вывести, передать определенную мысль, с которой они пойдут в мир».

Это важно: действительность фестиваля — это лишь пространство праздника, в котором нельзя пребывать постоянно, нужно из него выйти в жизнь.

РУССКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ В ПОЛЬШЕ

— Русская религиозная философия была одним из самых интересных интеллектуальных явлений первой половины XX столетия. И по сей день Россия остается одним из центров творческой философской мысли. Как вы, отец Генрик, впервые встретились с русской мыслью?

— Это случилось очень давно, еще в лицее. В какой-то момент я обнаружил, что в доме у родителей есть глубоко запрятанная книга профессора Мариана Здеховского «Перед лицом конца», которую я прочитал. Прочитал ее и мой тогдашний друг, Юрек Буша, который стал потом известным специалистом в области теории фотографии; он жил в Радоме, его уже нет в живых. Оказалось, что Юрек в свою очередь нашел у отца изданную на польском языке книгу Николая Бердяева. Тогда мы с ним обменялись. Для меня это стало первым контактом с русской мыслью, и вместе с тем на некоторое время единственным, так как мне нигде не удавалось ничего найти. Лишь когда я начал учиться в Люблинском католическом университете и позже, когда занимался в Париже — собственно, только в Париже я в полной мере получил доступ к этой литературе, потому что даже ЛКУ не располагал в ту пору всеми публикациями. Должен признать, там действительно имелось большое по тем временам собрание, но многого всё-таки не было, а в Париже я внезапно оказался в необычном положении: в Свято-Сергиевском православном богословском институте эти издания были в библиотеке, можно сказать, под рукой. Я выносил оттуда целые груды книг, чтобы прочитать, а потом относил их обратно. И даже подумал, что польской мысли стоило бы всё это усвоить. Подобная идея казалась мне тогда безумием, принимая во внимание существовавшее положение в Польше.

— В связи с тогдашним положением в Польше хотелось бы задать два вопроса. Как вы помните возможности говорить в те времена о русской религиозной философии? И развивались ли они?

— Да, очень развивались, и думаю, что огромную роль тут сыграл профессор Анджей Валицкий со своими публикациями, которые, конечно же, были и не могли не быть отмечены некой вполне определенной интерпретацией, критической оценкой отдельных мыслей российских философов, что было вполне

понятно в тогдашней действительности. Но тот период был для нас первым открытием русской религиозной мысли, потому что до этого блокада была продвинута настолько далеко, что в энциклопедиях даже не упоминались фамилии этих философов, они просто не существовали. А вторым человеком, очень способствовавшим изменению сложившегося мышления поляков о России, был, как ни странно, художник — профессор Ежи Новосельский, который в свою очередь, представляя иконы, давая интервью и публикуя теоретические работы об иконописи, начал ближе знакомить поляков с несколько иным обликом христианства. Вплоть до 1980-х этим в сущности и ограничивалось всё, чего удалось достигнуть. Помню, большим успехом стала в то время, например, публикация в «Литературе на свете» — этот журнал по-прежнему существует, — в подготовленном Ежи Прокопюком номере о сатане, важного фрагмента книги Льва Зандера о Сергии Булгакове, причем даже под названием «Сергия Булгакова систематическое изложение взглядов на спасение сатаны», и цензура, на удивление, пропустила такой материал. Это считалось чем-то почти неслыханным. Но уже в 1980-е, после военного положения, цензура по существу начала постепенно самоликвидироваться, и это привело к тому, что появилась возможность приступить к изданию каких-то вещей. Однако должен сказать, что когда я решил перевести статьи Бердяева, с которых начинал и которым дал название «Проповедую свободу», то несколько крупных издательств с хорошей репутацией отказали мне, утверждая, что такая книга не разойдется, ибо в Польше никто не знает, кто такой Бердяев, а поэтому надо для начала провести нечто вроде просветительской операции, написать какие-нибудь статьи о русской философии, — иначе эта публикация станет полнейшим издательским провалом. После чего издательство «Алетейя» рискнуло — и рискнуло очень удачно: книга допечатывалась, причем несколько раз. Оказалось, поляки всё-таки знают, кто такой Бердяев, и это стало для меня стимулом начать писать о русской философии и богословии так называемого русского религиозного возрождения, а также переводить соответствующие труды на польский.

— Во времена ПНР жил священник Георгий (Ежи) Клиндер, который, как представляется, был создателем оригинального польского православного богословия. Какое влияние на его богословское творчество оказала русская религиозная философия, которую он знал и представителем которой был на польской почве?

— Думаю, помимо влияния патристики, очень хорошо просматривающегося в работах отца Георгия, вторым важным источником влияния была для него именно русская религиозная мысль. Протоиерей Клингер был, пожалуй, первым, кому удалось привезти в Польшу произведения этих философов, так что они попали к нему домой, а потом оказались в Христианской богословской академии. И он стал первым, кто вообще затрагивал в своих лекциях взгляды русских философов, потому что здесь материалы, на которые можно было бы опереться, вообще отсутствовали. Отец Георгий ввел в богословие — так как он был богословом — важные элементы русской религиозно-философской мысли; по сути дела почти в каждой своей статье он цитировал крупных русских мыслителей, таких как Сергей Булгаков или Павел Флоренский. Несомненно, отец Георгий создал некий — неоконченный по причине его преждевременной смерти — способ занятия богословием, достаточно нетипичный на нашей почве, иными словами, весьма самостоятельный, а не носящий чисто школьный характер. Он не писал школьных учебников — как мне представляется, у него вообще были бы проблемы с написанием учебника. Протоиерей Клингер писал просто богословские тексты, в которых затрагивал отдельные новые вопросы и открывал новые горизонты. То обстоятельство, что он действительно открывал эти новые горизонты, вытекало не только из того, что он был человеком весьма одаренным, но прежде всего из той базы, которой он располагал, а этой базой была русская мысль так называемого Серебряного века, иначе говоря, русского возрождения.

— Если бы проследить места, где публиковался протоиерей Клингер, то больше всего он печатался в католических журналах, особенно в «Знаке». Можно ли говорить о какой-то роли католических кругов в том, как его принимали? Откуда бралась такая заинтересованность католических кругов, и можно ли здесь кого-то особенно выделить?

— Обстоятельства были таковы, что у православной Церкви был лишь информационный бюллетень, который назывался «Церковный вестник», а Христианская богословская академия располагала «Богословским ежегодником». И это были единственные места, где существовала возможность хоть что-нибудь опубликовать. «Церковный вестник» вплоть до 1971 г. оставался единственным православным журналом, хотя по существу он представлял собой информационную церковную газетку. Только в 1971 г. появились «Ведомости», которые имели более научный оттенок. Не было где публиковать работы, на это надо обратить внимание. И единственной базой,

существовавшей в Польше, были католические издательства такого типа, как «Знак», «Пакс», «Вензь». Отец Георгий принимал участие в целом ряде конференций, организованных этими кругами, а также Клубом католической интеллигенции, и плодами этого становились его статьи. Одновременно всё это вытекало из того факта, что католические сообщества в указанное время, то есть в 1960-е, широко открывались восточнохристианской мысли, — это было результатом II Ватиканского собора, а также того, что на Западе в католических трудах начала появляться православная мысль и на нее там всё чаще ссылались. В этот период во Франции и в Италии стали выходить серьезные католические работы о Сергии Булгакове, о Павле Флоренском и т.п. И рикошетом всё это доходило до нас, возник интерес к русской мысли, но я считаю, что тут играла роль и личность автора, то есть протоиерея Клингера, который был незаурядным богословом, — его статьи попросту пользовались популярностью.

— Вернемся назад, к тем польским авторам, которые были современниками творцов русского религиозно-философского возрождения. Хотел бы начать с уже упомянутого вами профессора Здеховского и спросить, что прежде всего интересовало поляков в тот первый период, а также можно ли творческое наследие профессора Здеховского рассматривать как образцовый пример углубленного восприятия русской философии в течение этого первого периода?

— После Первой Мировой войны обстановка в Польше, несомненно, никоим образом не способствовала восприятию русской мысли, так как над сознанием поляков очень сильно тяготело понятие «царизм», и это бесспорно, это видно в поведении тогдашних государственных властей, которые вместе с тем даже прямо отождествляли православие с Россией, забывая, что православие берет свое начало из Византии, с Ближнего Востока. Профессор Здеховский по существу был в тот период исключением. Когда-то я изучал эту проблему и даже опубликовал статью о восприятии русской мысли, из которой недвусмысленно вытекало, что у нас имело место определенное ее непонимание. Уже не говорю о философской мысли типа Бердяева, Булгакова или Флоренского, которые были неизвестны. До войны, собственно говоря, перевели только немного Мережковского, одну книгу Бердяева, несколько статей Лосского, и никакого их серьезного восприятия не наблюдалось. Но зато в тех статьях, которые я читал, чувствовалась неприязнь даже к таким великим писателям, как Достоевский. Есть даже одно его межвоенное издание, где опустили отдельные фрагменты «Братьев

Карамазовых», считая, что это какой-то мистицизм, полностью непонятный человеку Запада. На этом фоне Здеховский выглядел человеком исключительным. Более того, у него были личные дружеские отношения с русскими авторами, которые, несомненно, вытекали из его общественного положения, потому что он происходил из шляхетской семьи с традициями. Еще до Первой Мировой войны он подружился со многими русскими мыслителями, в частности с Бердяевым, Флоренским, Булгаковым, лично знал их всех, ездил ко Льву Толстому в Ясную Поляну, переписывался с этим великим писателем, а также не порвал своих контактов после войны. Напротив, позднее он поддерживал их на линии Варшава—Париж, ездил в Париж и встречался там с Бердяевым. Мало кто об этом знает, даже на Западе, хотя это написал сам Здеховский, и известен следующий факт: в разговоре с Бердяевым он высказал идею, что следовало бы наконец начать какие-то христианские межконфессиональные встречи, — идею, которая, кстати говоря, позже принесла плоды во Франции. Здеховский — исключительный человек в том смысле, что по существу он был надконфессионален и не ощущал неприязни к чему-либо лишь из-за того, что это-де не католическое. Этот ученый старался усвоить русскую мысль, в его книгах есть целые фрагменты, посвященные русской религиозной мысли. Он, например, очень ценил Евгения Трубецкого, ссылаясь на него, но не только. Собственно говоря, на протяжении межвоенного периода Здеховский был единственным мыслителем, который воспринимал русскую мысль положительно, то есть не фальсифицировал ее и не производил над ней процедуру типа того, что мы вот здесь возьмем и опустим парочку страниц из «Братьев Карамазовых», раз они не отвечают каким-то нашим взглядам. Он просто знакомил читателей с этой мыслью и относился к ней с огромным уважением. Мало того, Здеховский очень положительно высказывался о ней, особенно он ценил русскую мысль в аспектах ее катастрофического видения эмпирической действительности, так как сам разделял указанную точку зрения и старался сделать поляков чувствительными к тому, что нам грозит. Это был, однако, глас вопиющего в пустыне, но, может быть, такова судьба всех пророков. Тем не менее благодаря ему была создана позитивная почва для восприятия хотя бы той русской мысли, творцы которой после революции оказались в эмиграции.

— Следующий из межвоенного двадцатилетия, о ком хотелось бы спросить, — это Виткаций, о нем вы тоже написали статью, и...

— Теперь уже и в России появилась целая книга о нем. Конечно, у них на месте лучшие возможности добираться до архивов...

— В своей статье вы говорите, что, в частности, идею антиномии, роль тайны, эротический генезис творчества, катастрофизм он мог черпать именно из русской мысли. Помогает ли русский контекст понять Виткация?

— Теперь я убежден, что тут уже ничего не надо предполагать, — это просто факт. Мы точно знаем, что Виткаций, который в период Первой Мировой войны находился в Петербурге, регулярно встречался у Вячеслава Иванова с самыми разными русскими мыслителями. Это были так называемые вечера на башне у Иванова. Там встречались представители Серебряного века. Велись ожесточенные споры и длившиеся целыми ночами дебаты. Так вот, Виткаций принимал участие в этих встречах. На них читались различные тексты, доклады, обсуждали эти доклады, шел оживленный обмен мнениями. Виткаций вернулся в Польшу с некоторым багажом опыта; тем не менее, действуя весьма коварно, он ни в одном из своих произведений не признаётся в том, что его взгляды каким-то образом связаны с русской мыслью. Возможно, он был убежден, что все и без того просто знают об этом, что это вещь, которая заведомо очевидна. Я даже обнаруживаю дальнейшие подобия, например значащие имена и фамилии его героев. Ну да, так у Гоголя, Достоевского, и это тоже некое продолжение традиции. Но в философском слое, в своем предчувствии катастрофы Виткаций, пожалуй, приехал с такими взглядами прямоком из Петербурга и не вылечился от них до конца жизни. Хотя трудность с прочтением и разгадыванием его произведений состоит в том, что он нигде не привел даже самого маленького примечания или сноски, не упомянул ни единой фамилии. Однако, насколько глубоко он знает русскую мысль, очень легко догадаться, это попросту очевидно. И как раз в последнее время у русских ученых начинают появляться работы на тему о Виткации в России в годы Первой Мировой войны. Эти публикации подтвердили мое давнишнее предположение; я тогда, разумеется, не имел доступа к российским источникам, как оказалось, уцелевшим, — хотя бы к протоколам тех заседаний, которые проходили у Вяч. Иванова, к материалам, которые там оглашались, к докладам и т.п. В связи с вышесказанным мне сейчас представляется, что о Виткации надо уже говорить напрямую как о преемнике и продолжателе не только философской, но и литературной мысли русского Серебряного века на польской почве.

— Считаете ли вы, что это стало главным источником вдохновения в его творчестве?

— Да, я действительно считаю, что в его творчестве это был основной источник вдохновения, хотя и хитроумно укрытый — способом, типичным для Виткация. Он ведь всё делал загадкой и загадку делал всем. Вы же знаете, как обстоит дело с его знаменитыми похоронами: когда привезли мнимые останки Виткация, то оказалось, что там — не знаю в точности, кто, поскольку существуют две версии, — что там покоится какой-то вислоусый казак в мундире. Есть еще и другая версия: будто там покоится какая-то молодая женщина, будто в той могиле вообще лежит не мужчина. Таким образом, уже после собственной смерти Виткаций выкинул такой номер, что в Закопане даже нет его могилы, что это всего только символическая могила. Конечно, он был очень таинственным человеком и никогда не признавался в таком источнике вдохновения, — быть может, это больше подчеркивало оригинальность его мысли. Но в теперь этот факт уже кажется мне именно фактом, а, как известно, фактам свойственно то, что с ними не поспоришь. Это тоже взято из русской литературы.

— В истории польского отношения к России и русским в XX веке дело обстоит так, что сначала в какой-то степени на Россию смотрели в царском контексте, потом на Россию смотрели в контексте того коммунизма, который был установлен в Польше, и по этой причине русскую мысль воспринимали как мысль прежде всего марксистскую, что не соответствует истине. Насколько этот стереотип удалось переломить в новейшие времена?

— Когда в конце 1970-х меня спрашивали, чем я занимаюсь, а я говорил, что русской философией, то сразу же наблюдал и слышал паническую ответную реакцию: «Марксизмом!» Духовное лицо занимается марксизмом! Я говорю: «Да нет же, существует другая русская философия, нормальная, не марксистская». Однако она оставалась совершенно неизвестной — разумеется, если не считать каких-то узких кругов. Сейчас положение коренным образом изменилось, никто уже не отождествляет Россию с марксизмом. Марксизм закончился, в конечном итоге он перестал функционировать. Усилия, которые были предприняты здесь переводчиками — в первую очередь переводчиками, хотя бы Збигневом Подгужецем (который еще в давние времена переводил шедевры русской литературы, но не только их — он и Флоренского тоже переводил), — открыли полякам глаза на другую Россию. Иначе говоря, поляки увидели, что кроме этой

навязанной нам марксистской мыслительной схемы, которая и России тоже была навязана, существует еще замечательная свободная русская мысль, мысль христианская. И, кому бы я в данную минуту ни сказал, что занимаюсь русским богословием либо философией, никто не спрашивает меня с изумлением, уж не занимаюсь ли я каким-нибудь марксизмом-ленинизмом. Поэтому думаю, что на протяжении этих тридцати лет обстоятельства все-таки радикально изменились — в лучшую сторону.

— После 1917 года в Польше оказалась большая группа эмигрантов из России. Раньше я задавал вам вопросы о конкретных поляках и об их встречах с русской мыслью, которые обычно происходили потому, что они какое-то время находились в России или по крайней мере читали произведения русских писателей и мыслителей. Зато теперь я хотел бы спросить о том, каким образом русская эмиграция в Польше в межвоенный период влияла на восприятие русской мысли.

— Эмигранты в принципе рассматривали Польшу, как они мне сами это говорили — поскольку я еще имел удовольствие беседовать во Франции с некоторыми из «старых» российских эмигрантов — всё-таки в качестве транзитного этапа. Они хотели добраться до Франции, потому что там располагался Свято-Сергиевский богословский институт, а это был превосходный научный центр. Через Польшу проехали и Дмитрий Мережковский с Зинаидой Гиппиус, и Альфред Бем тоже проехал, но он направился в Прагу, где действовал Русский университет, дававший ему возможность заниматься изучением Достоевского, чем в Польше тогда вообще не занимались (в настоящий момент мы можем говорить, что у нас есть замечательные специалисты по Достоевскому, хотя бы Рышард Пшибыльский, но тогда наши дела в этом вопросе обстояли не слишком хорошо). Большинство эмигрантов задерживалось тут на несколько месяцев, на год, максимум на два, и отправлялось дальше на Запад. Остались жить здесь лишь немногие, но те, кто так поступил, оставили после себя некоторый след. Прежде всего это Дмитрий Философов, друг Мережковского и Зинаиды Гиппиус, трудившийся и скромно зарабатывавший в должности библиотекаря. Это был очень любопытный библиотекарь, потому что, когда студент просил его выдать какие-то книги, Философов вступал с ним в разговор: «Выходит, вы пишете какую-то работу?» — «Да, мне задали такую-то тему». Студент приходил, заказывал три книги, а его ждало пятнадцать. Причем Философов еще и обманывал, говорил: «Знаете ли, я случайно нашел еще несколько книг на эту тему, вам будет легче», — а он ведь это

всё знал наизусть. Неслыханный эрудит, который после Первой Мировой войны по сути дела перестал заниматься философией, взбудораженный всеми происшедшими событиями, то есть революцией и ее последствиями, а в итоге перешел на позиции настоящего врага большевизма. Он издавал в Польше журналы «За свободу!» и «Меч», отчетливо направленные против советской системы. Он включился в подобную деятельность, уже типично антисоветскую. Зато тут имелась эмиграция, связанная скорее с православной Церковью и с Центром исследований православного богословия Варшавского университета. В этом центре преподавали — иногда короткое время, иногда довольно долго — такие великолепные ученые, как историк Василь Биднов, на лекции подъезжал из Кёнигсберга в Варшаву Николай Арсеньев. Таким образом, в Польше действовала определенная группа ученых, но по сравнению с такими городами, как Париж, Прага или Берлин, мы были всё-таки второстепенным центром русской эмиграции. Осевшие здесь русские эмигранты подчеркивали, впрочем, что отношение поляков к ним было в течение первого периода весьма отрицательным, зато позже оно менялось, то есть по прошествии, скажем, десяти или пятнадцати лет люди забывали всё, что происходило когда-то, — существовала уже только Польша, царизма не было. Но в тот период, когда эмигранты только-только оказались здесь, иными словами, в 1918–1921 гг., положение было для них очень неблагоприятным, и поэтому они предпочитали перебираться дальше на Запад. Хотя приезжие все-таки организовали тут несколько объединений, в частности, Русское благотворительное общество, которое действовало в Варшаве, здесь выходила пресса на русском языке для эмигрантов; кроме того поддерживались очень тесные связи с Парижем и имелся русский книжный магазин на улице Новый Свет, где можно было дешево купить все публикации парижского издательства ИМКА, потому что злотый стоял выше франка, в результате чего эти издания продавались дешевле польских книг. Таким образом, кое-что всё-таки происходило, но в сравнении с тем, что происходило главным образом в Париже, это были второстепенные события. Если русские что-то публиковали в Польше, то печатали свои работы либо в журнале Центра исследований православного богословия Варшавского университета «Эльпис», либо в той антисоветской прессе, которая функционировала в Польше, и здесь наибольшие заслуги остаются, пожалуй, за Дмитрием Филосовым. Однако главным образом эмигранты публиковались на Западе, прежде всего в Париже.

— Важная фигура, которая связывает между собой три периода: межвоенный, пээнэровский и современный, — это Чеслав Милош...

— Да, это несомненно так.

— Милош, например, читал в университете в Беркли лекции по Достоевскому, Милош отлично знал русскую философию и некоторых русских философов, в частности, очень ценил о. Сергия Булгакова...

— Да, и Василия Розанова тоже ценил. Но всех он не знал — думаю, что совершенно не знал, например, Павла Флоренского, так как нигде на него не ссылается; однако, надо признать, русскую литературу Милош знал превосходно. Он был замечательным знатоком русской литературы, и это принесло плоды именно в том, что он смог исполнять вышеуказанную роль, — это вы правильно сказали, что Милош был тем, кто связывал времена трех больших поколений: дореволюционного, послереволюционного и функционировавшего после Второй Мировой войны. Связывал — но с учетом того, что его деятельность в Беркли была в Польше почти неизвестна, ибо он ведь тоже был в своей стране под запретом. Его разнообразные занятия получили известность в Польше только в 1980-е, главным образом после Нобелевской премии, когда вся совокупность связанных с ним обстоятельств круто изменилась. Но он сыграл весьма важную роль именно в положительном подходе к русской мысли. Я лично не согласен с отдельными из его истолкований, но это совсем другая проблема, — зато его трактовка свободна от балласта какой-то ничем не оправданной антирусскости, которая иногда выглядит даже юмористической. Питать антирусские чувства по отношению к Бердяеву, который во времена царской России считал, что Польша должна вновь обрести независимость, и писал об этом, — это по существу нечто поразительное. Если мы говорим о русских, надо очень четко разграничивать. Конечно, среди русских, как и в каждом народе, есть шовинисты — националисты, мечтающие об империи, и так далее. Но есть и русские, которые о таких вещах вовсе не мечтают, а являются, например, великолепными философами. Думаю, Милош прекрасно отличал русский национализм, империализм от русской философско-богословской мысли и эту последнюю, несомненно, очень ценил. Авторитет Милоша как поэта и лауреата Нобелевской премии был настолько высок, что его публикации, по моему мнению, весьма положительно способствовали изменению польского взгляда на Россию. Потому что Россия — явление очень сложное. Я страшно не люблю применительно к этой

стране какие-то чрезмерные обобщения, которые часто наблюдаются в польской прессе: что, мол, в России существует только русский национализм, что там сплошные националисты, что есть лишь русский империализм, как будто в России жили исключительно одни только сторонники империи и вдруг появилась русская демократия, а в результате уже неизвестно, что возникло и кто же там «все» — националисты, демократы или империалисты. Согласитесь, это звучит немного странно. Надо весьма осторожно выражать мнения о такой стране, а особенно о философах, мыслителях, которые там действуют и которые большей частью — так уж сложилась история России — бывают недовольны режимом, причем каждым.

— Я хотел бы еще спросить о некоторых других польских авторах, например о Богумиле Ясиновском и его книге «Восточное христианство и Россия», которая представляет собой пример отмеченного выше негативного восприятия...

— Знаете ли, тут мы, в сущности, имеем дело с наихудшим примером, какой только может существовать, потому что это пример человека, который прекрасно знал русскую литературу, однако из принципиальных соображений толковал ее негативно. Кто бы там ни был, что бы там ни было — всё оказывается для него какой-то Азией, какими-то дальневосточными влияниями, хотя сам он отродясь в Азии не был, но некие ее влияния увидел, некую татарщину усматривал. По его мнению, в русской литературе вообще почти нет ничего положительного, вдобавок подбор обсуждаемых книг иногда выглядит у него очень странным, потому что он пишет про книги, о которых все уже забыли: они вообще полностью вышли из обращения, лишь некогда, давным-давно обладали каким-то небольшим влиянием. Известно, что история производит безжалостный отбор, и ссылаться на какие-то сочинения порнографического характера как на выражение духа русской литературы — это нечто прямо-таки юмористическое. Подобные произведения существуют на каждом языке, зато я не знаю, следует ли вообще называть их литературой, а уж особенно — большой и художественной. Посему Ясиновский представляет собой фигуру, которую не надо рассматривать в качестве специалиста. Пусть он даже и был каким-то специалистом, однако к нему надлежит относиться как к человеку, чье толкование ложно. У него, видимо, имелась в качестве предпосылки некая заведомая идея о том, каким образом следует всё это интерпретировать, и он этой идеи придерживался.

— Ясиновский считал, что взгляды, в частности рационализм и иррационализм, распределяются географически, что Франция — самая рациональная страна, а потом иррационализм нарастает вплоть до Индии. Это, по-видимому, такая предпосылка, в которую он вписывает и Россию.

— Эта предпосылка совершенно абсурдна, потому что во Франции, кроме картезианского рационализма (ибо у французов этот своеобразный рационализм — только картезианский, и никакой другой), мы имеем огромное течение скептицизма. Эмиль Чоран, который, хотя и не был французом, но писал, однако же, по-французски, в сущности, весьма эффективно инфицировал целое поколение французов своей философией отчаяния. И этот факт тоже свидетельствует, что оценка, утверждающая, будто мы переходим от рациональной Франции к полному отсутствию рациональности в Японии и Китае, абсурдна, особенно теперь, когда в текущем году Китай стал первым производителем в мировом масштабе, победив США, а иррациональная страна ни в коем случае не могла бы добиться чего-либо подобного. Я уже не говорю о Японии, хотя бы о японской автомобильной промышленности — она же, как ни говори, требует определенного рационализма. Это совершенно ошибочная предпосылка, и она, вероятно, представляет собой результат весьма поверхностного знакомства с дальневосточными религиями, особенно с буддизмом, который в Польше по сей день понимают ужасным образом, рассматривают как некое полное бегство от мира, как законченный иррационализм, по сути дела какой-то псевдоатеизм. В Польше можно прочесть о буддизме всё что угодно — за исключением подлинных суждений о том, что он собственно собой представляет. Полагаю, что вышеуказанное мнение Ясиновского основано на каких-то кошмарных интерпретациях именно этого типа, которые автор откуда-то взял и которые последовательно проводил в жизнь. К счастью, его книга забыта.

— Но недавно ее переиздали.

— Я знаю, да, но не предсказываю ей особого успеха.

— В течение последних двадцати лет — хотя и раньше тоже были кое-какие переводные публикации — появилось очень много переводов на польский язык произведений самых разных писателей, связанных с русской религиозной мыслью. Помимо сочинений этих авторов, были переведены и три труда по истории русской мысли — книги Бердяева, Лосского и Коплстона. Переведено также очень много литературы по православному богословию, которая помогает воссоздавать весь этот контекст.

Приносит ли какие-нибудь плоды та переводческая база, которая уже в большой степени предоставлена польскому обществу, то есть видны ли какие-либо последствия, какие-либо первые следы нового восприятия?

— Да. Я отчетливо вижу, что появляется всё больше отечественных разработок, статей, книг на тему русской мысли рубежа XIX–XX веков. Как правило, специалисты принимают, что конец русского религиозно-философского возрождения обозначается смертью о. Сергия Булгакова, а некоторые говорят, что смертью Павла Евдокимова. Но в данный момент воздействие русской мысли в Польше уже очень заметно. Кроме того на базе существующих публикаций у нас возникает — и это тоже не лишено значения — очень много дипломных работ и диссертаций. Хотя я бы не преувеличивал и не утверждал, что существующая база уже превосходна и близка к идеалу. По-прежнему у нас всё еще не та база, которую можно назвать в полной мере совершенной. Чтобы всё это функционировало должным образом, я хотел бы видеть там дополнительно по меньшей мере несколько десятков хороших позиций, подлежащих обязательному переводу. Причем не только с русского языка, но и тех доброкачественных работ, которые появились на Западе. Однако я бы сказал, что уже в данную минуту какой-то минимум существует и можно спокойно заниматься русской мыслью. Очень важно, что переводы касаются также православного богословия, особенно того, которое связано с религиозным возрождением. Прошу обратить внимание, что у нас переведен на польский язык почти весь корпус сочинений Евдокимова, не хватает только двух книг. У нас переведено с французского языка решительное большинство работ Оливье Клемана. Это продолжатели русского возрождения, надо об этом помнить. Мне, например, не хватает перевода книги отца Бориса Бобринского о тринитарном богословии, а она многое бы объяснила в русской философской мысли, которая вся основана на Троице. Зато почти весь Бердяев уже функционирует на польском языке. Хуже с переводами других мыслителей. В Польше есть немногочисленные переводы работ о. Сергия Булгакова, но этого недостаточно, здесь следовало бы добавить кое-что еще. Надеюсь, мне удастся тут протолкнуть какие-то вещи, но теперь вдобавок ко всему возникают еще и издательские трудности. Однако, например, такие мыслители, как Лев Карсавин, по существу совершенно неизвестны. Николай Лосский получил признание главным образом как историк философии, но он ведь был не историком, а философом, его книга об истории русской философии возникла как бы попутно. Всё-таки Лосский — это превосходный русский интуитивист,

который творчески развил интуитивизм, и именно он раскрыл монады Лейбница. Одна из его статей была до войны опубликована у нас, когда он приезжал читать лекции в Варшавском университете. Василий Розанов известен в очень узких пределах. Я отдаю себе отчет в том, что это такой мыслитель, о ком постоянно говорится как о спорном (а это, разумеется, такое слово, которое ничего не разъясняет, однако в определенных кругах это мыслитель совершенно неприемлемый), но, с другой стороны, в творческом плане он оказывает необычайно стимулирующее воздействие, особенно в своей афористике (намного более сильное, чем в трактатах, которые он писал довольно тяжеловесным языком, хотя даже и красивым, если вести речь о его русской прозе). Зато афористика Розанова чрезвычайно побуждает к размышлениям.

— В заключение хотел бы спросить о том, почему вообще стоит заниматься русской философией. Иван Киреевский писал, что на востоке мыслители, чтобы достичь полноты истины, ищут внутреннюю цельность разума, своего рода средоточие умственных сил, при котором все отдельные виды духовной деятельности сливаются в одно живое и высшее единство. Согласны ли вы с этим?

— Я бы присовокупил сюда одно дополнительное замечание вслед за Николаем Лосским, который считал, что существует еще одно свойство русской философии — ее конкретность. Это очень конкретная философия, очень связанная с жизнью, а не только состоящая из сплошных абстрактных рассуждений на тему сущности бытия. И это видно. Прошу обратить внимание, насколько сильно русская философская мысль, например у Бердяева, связана с современностью. Одна из его книг сделала карьеру до Второй Мировой войны, а потом стала популярной намного позже, после атаки на Нью-Йорк. Бердяев, кстати, говорил следующее: либо философия носит пророческий характер и умеет что-то увидеть в окружающей действительности и извлечь из этого выводы, либо она ни на что не годится. Но таково свойство не только его философии. Элементы некоторого пророчества, сильной привязки к жизни я вижу и у Трубецкого, и у о. Сергия Булгакова, особенно в тех его работах, которые относятся к переходному периоду «от марксизма к идеализму», — в них содержится огромный материал для размышлений не только над состоянием тогдашнего мира, но и над положением человека в изменяющейся эмпирической действительности. Он строит философию, которая позволяет сделать передышку — позволю себе определить это именно так — от того, к чему мы

привычны в будничной повседневности. Она очень сильно отличается от немецкой или французской философии. Почему? Потому что существует одно качество уже не философии, а русских философов, мыслителей — я даже в связи с этим качеством предпочитаю говорить «мыслители», а не «философы»: все авторы, о ком мы тут говорим, в том числе и второстепенные, которых имелось великое множество, были необычайными эрудитами. Эти люди великолепно ориентировались в богословии, философии, эстетике, истории, литературе, и они спокойно, причем в одной книге, затрагивают все эти вопросы. Попросту переходят спокойно от богословия к философии, к литературе, к искусству. Это — следствие их невероятной эрудиции, какой в состоянии достичь далеко не каждый. Эрудиция как раз и позволяет им обладать особым взглядом, отличающимся от точек зрения других. Взгляд русских философов не назовешь зауженным, он всегда широк. Если вдумчиво читать названных философов, их труды служат великолепным материалом для дальнейших, уже собственных поисков и конструкций, а отнюдь не каждое чтение философской литературы дает такие возможности.

Беседу вел Томаш Гербих